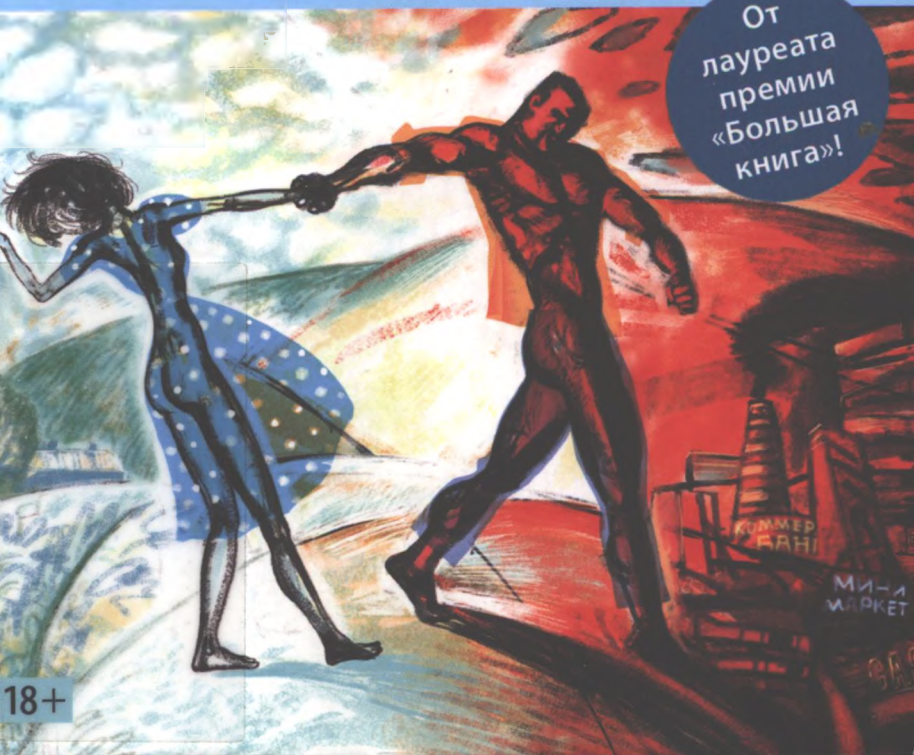


ЮРИЙ БУЙДА

Покидая Аркадию
книга перемен

От
лауреата
премии
«Большая
книга!»



18+

Глаз никто не поражал мне —
Сам глаза я поразил

ЮРИЙ БУЙДА

Покидая Аркадию
книга перемен

роман



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б90

Оформление серии *Алексея Марычева*

Автор фото *Никита Буйда*

В оформлении переплета
использована иллюстрация *Алексея Дурасова*

Буйда, Юрий Васильевич.

Б90 Покидая Аркадию. Книга перемен : роман / Юрий Буйда. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 320 с. — (Большая литература. Проза Юрия Буйды).

ISBN 978-5-699-90768-7

Аркадия — идеальная страна счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким раем казалась дооктябрьская Россия, «которую мы потеряли», а сегодня многие считают, что идеальной страной была СССР, хотя советские люди были убеждены, что счастье возможно только в будущем, где нет ни «совка», ни «коммунак», а только безграничная свобода и полные прилавки. Все требовали перемен, не задумываясь об их цене.

Эта книга — о тех, кто погиб в пожаре перемен, и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все испытания, изменившись, но не изменив себе. О провинциальной девчонке, которая благодаря стойкости стала великой актрисой, потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от блестящей карьеры ради любви. О нормальных подростках, превратившихся в безжалостных убийц. О прокуроре, взявшемся за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга — о поисках идеала, о единстве прошлого, настоящего и будущего, о нас сегодняшних, о счастливой Аркадии, которую мы всегда покидаем, никогда с нею не расставаясь.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Буйда Ю., 2016
© Оформление. ООО «Издательство
«Э», 2016

ISBN 978-5-699-90768-7

Нора Крамер

Сначала она была Ленкой Ложкиной, потом стала Элли Тавлинской, затем Норой Крамер, и все эти три жизни она прожила беспощадно.

Она многое умела. Умела так приготовить куриную ногу, чтобы ее хватило на три дня. Пить спирт не закусывая. Прятать деньги в заднице. Готовить бейлис из сгущенки с водкой и растворимым кофе. Перелицовывать старую одежду, превращая ее в модные шмотки. Ходить на руках. Маскировать выбитый зуб жевательной резинкой. Терпеть голод и холод. Не плакать, когда хотелось плакать. Бегать на десятисантиметровых каблуках. Брить ноги спичкой. Варить суп из сникерса. Пользоваться кастетом. Потом она научилась танцевать стриптиз. Запоминать тридцать-сорок страниц текста с первого раза. Играть Эшила, Шекспира и Чехова. Быть матерью, женой и любовницей. Отличать шамбертен от кортона. Говорить по-английски. Повелевать с твердостью и подчиняться с радостью.

Она всегда умела добиваться своего. Если б не умела, то так и осталась бы стриптизершей в «Фениксе»,

одной из тех провинциалок, которые скоро выходят в тираж и заканчивают свои дни в подземном переходе на Плешке, клянча у прохожих на пиво, или продавщицей на рынке, ужинающей дошираком под паленую водку, или возвращаются в свои городки и деревни, чтобы выращивать свиней, мечтать о более или менее постоянном муже и рассказывать подружкам о Москве, где никогда не кончается горячая вода...

Она добилась всего, научилась всему, освоила искусство лицедейства, искусство немощи и даже самое трудное из искусств — великое искусство молчания...

В детстве ей не нравилось ее имя — Элеонора, но только потому, что оно уже однажды принадлежало великой женщине — Элеоноре Дузе, а делиться Ленка не любила. И в будущем своем величии никогда не сомневалась.

Высокая, тощая, безгрудая, зубастая, с извилистыми ногами и острыми коленками, она считала себя неотразимой. Глядя на костлявую Элеонору, соседи ехидно говорили, что ее мать переспала с велосипедом или пружинным матрацем. Сверстники смеялись над ней: «Какая ты Ложкина! Ты — Вилкина! У тебя всюду зубья! Вилка! Вилка!» Но при этом все признавали, что у Вилки выразительные глаза, яркие, мятежные, и красивый чувственный рот.

Ну и талант, конечно, — с тем, что у Ленки Ложкиной талант, никто и не спорил. У нее был сильный чистый голос, она хорошо рисовала, а когда на школьном вечере читала со сцены отрывки из поэмы Асадова «Га-

лина», зал рыдал и бешено аплодировал, а она смотрела на этих людей с улыбкой, и в душе ее радость мешалась с холодом...

Она записывалась во все кружки, какие только были в школе и доме пионеров, — в кружок книголюбов, рисунка и живописи, фотографии, танцевальный, авиамодельный, самбо, макраме, драматический, — лишь бы поменьше бывать дома.

Ее мать была продавщицей в продуктовом магазине. В городке высокомерную и вспыльчивую Зину Ложкину называли Бензиной. Она пятнала тощую грудь мушками из тафты, носила мини-юбки, яркие клипсы и умопомрачительные прически — высокие башни со свисающими на уши локонами, украшенные гребнями, заколками, цепочками и бантиками.

В выдвижном ящике под прилавком она держала тетрадь в черной обложке, в которую записывала должников. Это было запрещено под страхом уголовного наказания, но Бензина отпускала в долг и сахар, и консервы, и вино: навар того стоил. Ее главными жертвами были пьяницы, набравшие водку «под запись». В конце месяца, когда жены алкашей приходили к Бензине, чтобы рассчитаться с долгами, выяснялось, что их мужья тридцать дней кряду пили водку ведрами и закусывали дорогой колбасой. «Опять приписала, сука! — кричала разгневанная женщина. — Вот пожалуюсь на тебя прокурору!» «Жалуйся! — кричала в ответ продавщица. — Больше ничего тебе в долг не дам! Ни спичечки!» До прокуратуры дело, конечно, не доходило: отбушевав, женщины

расплачивались и снова брали в долг, а Бензина делала в черной тетради соответствующую запись.

Богатства, однако, эти доходы в семью Ложкиных не приносили. Мать спускала все деньги на блузки с блестками, коньяк, пирожные и туфли с невероятными каблуками. По вечерам играла на гитаре и пела хриплым голосом «Тихо над речкою ивы качаются», каждую ночь плакала пьяными слезами на груди очередного мужчины и всегда мечтала о Москве, где могли бы по достоинству оценить ее царские ножки: «Там жизнь — глагол, а тут — одни прилагательные...»

Но однажды в ее жзни появился нищий баянист Сушкин, толстяк с собачьими глазами, который писал стихи, посвященные прекрасной Бензине, и все изменилось. Теперь она пила только с ним, теперь по ночам она плакала только на его груди, теперь она почти не поминала Москву: она нашла свой глагол. По утрам Сушкин ходил по дому в трусах, брал квашеную капусту из тарелки руками и томно вздыхал, поглаживая Бензинину задницу. Когда у Сушкина случались приступы гипертонии, Бензина преданно ухаживала за ним.

И тогда же ее дочь вдруг поняла, что нашла свое призвание.

Однажды руководитель драмкружка Ксаверий Казимирович Зминский — в городке его называли Ксавье — оставил ее после занятий и попросил прочитать стихотворение «Вот бреду я вдоль большой дороги...». Элеонора прочла «с выражением», как читала со сцены «Галину». Ксавье выслушал, кивнул и стал рассказывать

о Тютчеве, о юной Елене Денисьевой, которой поэт годился в отцы, об их любви, их болезненных отношениях, растянувшихся на четверть века, об их детях, о ее смерти и его горе...

— Так он при живой жене ей детей делал? — спросила Ленка. — На глазах у всех?

— Да, — сказал Ксавье. — А теперь прочти то же самое еще раз.

Она поняла, что тут какой-то подвох, и стала читать, внимательно наблюдая за выражением лица Ксавье, но оно оставалось невозмутимым. Тогда она после паузы прочла стихи в другой тональности, но и на этот раз учитель промолчал.

После этого Ленка, сбитая с толку, испуганная и униженная, пошла в библиотеку, набрала книг Тютчева и о Тютчеве, проглотила их за неделю, но на следующее занятие драмкружка не пошла. Она вдруг поняла, что не в силах прочесть это стихотворение так, чтобы это понравилось Ксавье. Она лежала в своей комнатке, слышала, как Сушкин внизу тихонько наигрывал на баяне что-то тягучее, степное, как мать мыла посуду после ужина, а в соседском дворе выл пес Таракан, думала об этом старике в мундире со звездой, который писал стихи, о его желчном характере, о его любовнице, перебирала в памяти стихи и не заметила, как уснула, а среди ночи вдруг проснулась, села на кровати — голова была ясной, руки почему-то дрожали — и вдруг увидела в окне соседского дома тусклый огонек, и словно вознеслась над этой жизнью, над городком, над спящими и умирающими, с

радостью почувствовала себя живой и бессмертной, и услышала какой-то дребезжащий тихий звук — это сумасшедший старик Девушкин брел по ночному городу, толкая перед собой тележку со всяким мусором, который он целыми днями собирал на обочинах, и прочла стихотворение вслух, не слыша себя, но понимая, что — получилось, и понимая также, что самое трудное — не потерять этот тусклый свет, эту безмозглую подростковую радость и этот дребезжащий звук, далеко разносившийся в ночи...

Через неделю она дождалась, когда Ксавье останется один, отвернулась к окну, чтобы не видеть его лица, и стала читать, упиваясь этим светом, тлеющим где-то в глубине, и этим звуком, заунывным и дребезжащим, накатывающим и затихающим, накатывающим и затихающим...

— А ты, оказывается, не такая и дурочка, как я думал, — сказал Ксавье, когда она замолчала. — Теперь надо поработать с дыханием...

Никогда еще она не переживала таких чувств, как в тот вечер. Ей казалось, что она чудом избежала смертельной опасности, и была так счастлива, что не могла сдержать слез. И ей хотелось переживать это чувство снова и снова, невзирая на страх и унижение...

С того дня Ксавье стал заниматься с нею отдельно. Они читали пьесы вслух по ролям, обсуждали характеры и интонации, и после этого Ленке хотелось тотчас сыграть и Федру, и Джульетту, и леди Макбет, и Маргариту Готье, но более или менее убедительной выходили у нее

роли помещицы Поповой из чеховского «Медведя» да Софьи из «Горя от ума». К своему огромному удивлению, она обнаруживала в себе бездны упорства и терпения, когда по приказу Ксавье в тридцать какой-то раз декламировала «На холмах Грузии» или монолог Нины Заречной...

— Есть в тебе содержание, есть, — говорил Ксавье. — Из тебя может получиться актриса, если не остановишься... может быть, даже трагическая актриса...

По дороге в школу она бормотала себе под нос: «Тебе открылся мой мучительный позор, И слезы пеленой мне застилают взор...» или: «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни», и вдруг останавливалась, смотрела на людей, бежавших по своим делам, на серые деревья, стены домов, и прерывисто вздыхала от необыкновенного счастья, которое ее переполняло...

Ксаверия Зминского вдруг посадили по сто двадцать первой статье, за гомосексуализм, и Ленка осталась одна. На нее показывали пальцем, хихикали за спиной, к ним вдруг зачастили соседи — посмотреть на «подружку пидораса», а новый руководитель драмкружка сказал, что ничего путного из Ленки не выйдет, потому что она слишком долго думает...

На выпускной вечер Ленка не пошла, аттестат о среднем образовании получила в школьной канцелярии.

Она попыталась поступить в медучилище, но неудачно.

Вынесла за калитку все книги, которые покупала на обеденные деньги, устроилась продавщицей в магазин москательных товаров, осенью вышла замуж за соседского парня Мишу, только что вернувшегося из армии, добродушного силача и пьяницу, родила сына, у которого оказался кататонический синдром, ребенка сдали в психоневрологический интернат, и через три месяца он умер, по вечерам Ленка в компании мужа, матери и Сушкина смотрела «Рабыню Изауру», пила водку с лимонадом и плакала, Миша набирался до чертиков и начинал бить жену, в драку ввязывались Бензина и Сушкин, потом мирились, пили, плакали и хором пели «Невечернюю»...

Но однажды в субботу, после «Невечерней», Миша вдруг схватил нож, закричал: «Да провались оно все пропадом!» — и перерезал себе горло на глазах у жены, тещи и баяниста, забрыгав всех кровью. Спасти его не удалось.

Неделю Ленка не выходила из своей комнаты, неделю она не могла заснуть. Закрывала глаза и видела разваливающееся горло мужа с потеками крови, жалобное лицо Сушкина и мать, замершую с открытым ртом, в котором сверкал золотом нижний левый клык, — и вскакивала, вся дрожа, задыхаясь...

Утром в воскресенье открыла зачем-то сундук, вытащила случайно уцелевший томик Тютчева, села на стул и просидела у окна до вечера, так и не открыв книгу.

В понедельник взяла на работе расчет, купила билет на автобус до Москвы, выписала из справочника адреса

всех столичных театральных училищ, кинула в чемоданчик смену белья, накрасила губы и отправилась на автовокзал. В ожидании автобуса позволила цыганке погадать на руке, отдала ей пятерку, заняла место и заснула, а проснулась уже в Москве, на Щелковском вокзале — только тогда и обнаружила, что цыганка украла у нее все деньги.

Что ж, хоть фамилия осталась — Тавлинская. Элеонора Тавлинская. Не то что Ложкина. Ради этой звучной фамилии, может быть, и вышла за Мишу, подумала она и стиснула зубы.

Ей было девятнадцать, когда она приехала в Москву, и у нее не было денег.

Пять копеек, завалывшиеся в кошельке, уже не были деньгами — в марте 1991 года проезд в метро подорожал втрое.

Она была голодна, и ей хотелось пить. Бродила по автовокзалу, уворачиваясь от дюжих наперсточников, которые убегали от милиции со складными столиками в руках, валя прохожих с ног, высматривала бутылки с остатками пива, но их перехватывали злые старухи в беретах со значком «Гвардия» и в домашних тапках, привязанных к ногам бельевыми веревками, глазела на проституток, отдыхавших с водкой и сигаретами за заданием вокзала на поваленном заборе, куда все, мужчины и женщины, ходили мочиться, на парней в спортивных костюмах и кепках, выцеливавших недобрый взглядом кого-то в толпе, и, наконец, не выдержала — подошла к старику, продавцу газет, и спросила, не подскажет ли он, где тут можно переночевать.

— У меня, — сказал старик, смерив ее взглядом. — Но будешь стирать белье. И не сметь смеяться над Лениным!

— А вы не будете смеяться над Элеонорой? — спросила она.

— Договорились, — сказал старик. — Через два часа освобожусь...

И спустя двадцать лет она вспоминала Владимира Ильича — так звали старика — с благодарной нежностью. Прием во все театральные училища закончился, она опоздала, и старик разрешил ей жить у него «сколько надо».

Тем вечером он накормил ее яичницей с колбасой, поделился чекушкой, постелил на диване, сам лег в кухне, а утром отшел в контору метрополитена, где требовались уборщицы.

По ночам Элли — теперь она называла себя только так — мыла полы на станции метро, утром отсыпалась, потом относила старику термос с чаем и бутерброды, иногда вставала за прилавок, пока он отдыхал на пачках газет в тени пыльных деревьев. Готовила еду, стирала белье, заклеивала на зиму окна. Хозяин не брал с нее денег за постой — на сэкономленные Элли удавалось ходить в театр или в кино.

Отец хозяина всю жизнь строил заводы и города — в степях, в тайге и пустынях, во время войны занимался эвакуацией предприятий на восток, после войны снова строил — на этот раз космодромы. Лауреат всех премий, Герой Труда, генерал. В московской квартире поч-

ти не бывал — вернулся сюда, когда вышел на пенсию. Пытался писать мемуары, но после двух инфарктов и инсульта дело продвигалось плохо. До самого конца не мог понять, что же происходит в стране, что такое перестройка — революция, кризис или гульба. Склонялся к гульбе: «Умственное пьянство ничуть не лучше обычного. И нельзя, нельзя, чтобы все желания исполнялись, потому что первыми исполняются желания дурные». Год назад умер и был похоронен с воинскими почестями. Дети разменяли квартиру, а спившаяся дочь распродала награды отца.

Владимир Ильич рос в Казахстане и Сибири, воевал, окончил Бауманку, всю жизнь провел на ракетных полигонах, развелся, преподавал в университете, ушел на пенсию. Иногда его навещала старинная приятельница Клавдия Дмитриевна, которая рассказывала, как живут его бывшая жена и дети: сын стал предпринимателем, дочь вышла за военного.

Рассказывая о себе, Владимир Ильич никогда не упоминал ни географических названий, ни имен тех, с кем когда-то работал: сказывалась привычка к секретности, свойственная людям, которые прожили всю жизнь в другой, тайной стране.

Вечерами Владимир Ильич снимал со стены гитару — он был настоящим виртуозом, и Элли многому у него научилась. Иногда же они просто читали — хозяин перечитывал Лема, а Элли открывала Кафку — тогда на уличных книжных прилавках Кафки было не меньше, чем Чейза.

Клавдия Дмитриевна, моложавая дама с перманентом, иногда оставалась на ночь, и по утрам они завтракали втроем. Она-то и предложила однажды познакомить Элли со старухой Сухановой, отставной актрисой, которая нуждалась в помощи по дому и за это готова была и платить, и давать уроки актерского мастерства. Похоже, Клавдия Дмитриевна видела в Элли соперницу и хотела избавиться от нее.

Старуха Суханова была крупной, одышливой, с пушистыми белыми бровями. Она играла роль суровой, строгой дамы, хотя на самом деле была больной и беспомощной. Целыми днями она дремала в кресле-качалке с кошкой на коленях, но к вечеру оживлялась. Она не признавала никакого приема пищи в кухне, никакого коньяка в бутылках — Элли подавала еду в столовую и ставила на стол графины с крепкими напитками. Аппетит у старухи был крестьянский — она много ела и пила, становилась веселой и говорливой.

После первой рюмки она рассказывала о великих театрах, о режиссерах и актерах, с которыми ей довелось когда-то работать, после второй — заставляла Элли читать вслух стихи или какой-нибудь монолог и объясняла, как на самом деле должна звучать сценическая речь, после третьей вспоминала многочисленных своих любовников — наркомов и маршалов, оперных певцов и спортсменов, цирковых фокусников и журналистов...

— А вот со Сталиным мы так и не стали по-настоящему близки, — говорила она. — Все ограничилось бездушным минетом...

Элли не знала, верить ли старухе, которая всю жизнь была замужем за одним мужчиной, известным в далекие времена театральным критиком. После четвертой рюмки Ольга Ивановна всегда плакала, глядя на портрет своего Клавочки, Клавдия Ивановича Дмитриевского. Выпив пятую, говорила, что обязана ему всем: Клавочка научил ее понимать Чехова, носить драгоценности и готовить томленную утку по-аквитански.

— Мне так хотелось сыграть леди Макбет, — говорила она, — но Клавочка сказал, что это не мое. Ма шер, говорил он мне, это пессимизм, скептицизм и нигилизм продаются на каждом углу, а трагизм надо выстрадать. А ты, говорил он, ты, ма шер, была счастлива и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве, а Брежнев так и вовсе осыпал тебя наградами. Ты была самой счастливой и самой беспечной дамой русского театра. И он прав... так я и не сыграла ни Федру, ни леди Макбет, ни даже Маргариту Готье... Он считал, что существуют лишь три пьесы, которых достаточно любому театру, чтобы быть театром, — это «Царь Эдип» Софокла, пьеса о человеке и Боге, это «Макбет», пьеса о человеке без Бога, и, наконец, «Дама с камелиями»...

Она с жадностью слушала рассказы Элли о жизни в маленьком городке, о занятиях с Ксавье, о замужестве, смерти ребенка и самоубийстве мужа, задавая при этом множество вопросов, выпытывая детали, расспрашивая о том, что та чувствовала и думала.

— Что значит — не помню? — возмущалась Ольга Ивановна. — Судьба подарила тебе столько пережива-

ний, а ты не помнишь, что при этом чувствовала и думала? Так придумай! А лучше — вернись назад и попробуй разобраться в своих мыслях и чувствах. Все это тебе пригодится, если ты мечтаешь о карьере актрисы. Иногда достаточно вспомнить, как в детстве тебе хотелось отлупить дурочек, которые смеялись над твоими кривыми ногами, чтобы сыграть настоящую леди Макбет!..

Годы спустя Элли убедилась в правоте старухи Сухановой, хранившей в своей памяти все детали, все цвета и вкусы жизни.

В июне Ольге Ивановне исполнилось девяносто, и это событие с размахом отпраздновала вся театральная Москва. На торжественном обеде в ресторане старуха попросила своего бывшего ученика обратить внимание на ее «компаньонку», и в сентябре Элли приступила к занятиям в знаменитом театральном училище.

Она была благодарна Владимиру Ильичу за то, что приютил ее и научил играть на гитаре, она была благодарна этой крашеной сучке Клавдии, подозревавшей Элли в любовной связи со стариком, благодарна за то, что та познакомила ее с Ольгой Ивановной Сухановой, и старухе она была, конечно же, благодарна за сытую жизнь, за коньяк, за уроки актерского мастерства, за то, что научила ее память, ее ум и чувства работать безостановочно, на пределе, благодарна за семена, из которых выросли ее Нина Заречная и леди Макбет, ее Маргарита Готье, ее Федра и даже ее тупые стервы из проходных спектаклей и сериалов...

Она была благодарна Лизе Феникс, которая нашла ей жилье и работу, когда старуха Суханова умерла и квартиру пришлось покинуть.

Лизу хорошо знали в общежитии театрального училища, где она подбирала девушек для своего стрип-клуба, одного из первых в Москве. Выбирала, разумеется, тех, кто пофактурнее, с грудью, ляжками и задницей. Посмотрев, как Элли работает у шеста, сказала:

— Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок. Но что-то в тебе есть. Можешь сделать то же самое, но раз в сто быстрее?

Элли попробовала — у нее чуть подошвы не задымались.

Рабочие сцены, осветители, музыканты, официанты — все засмеялись, зааплодировали.

Через месяц в стрип-клуб «Феникс» стояла очередь из желающих посмотреть на Бешеную Элли, которая выдывала на сцене что-то невероятное.

Она не обращала внимания на вывихи, ушибы и растяжения — работала как проклятая, и труссы ее после выступления были набиты чаевыми.

Иногда она работала в паре с Молли, которая издали была похожа на нее как сестра-близняшка, но формы имела более впечатляющие. Фокус заключался в том, что двигались они в разном темпе, доводя зрителей до головокружения.

Лиза Феникс берегла свою звезду, щедро платила, ставила ее только на пятничные и субботние выступления, делала массаж, отдавая жаром своего огромного муску-

листога тела, поселила у себя, кормила деликатесами, покупала ей французское мыло и ласкала с такой неистовостью, какой Элли никогда не встречала у мужчин. А главное — не донимала ревностью, если Элли после выступления уезжала с каким-нибудь мужчиной.

Мужчин было много, их становилось все больше.

Среди них были и те, кто предлагал руку и сердце.

Когда одному из них она отказала, он отхлебнул виски из красивого стакана и, указав сигарой на дверь, сказал, не повышая голоса, чуть шепелявя:

— Тогда пошла вон. Сейчас, немедленно.

Ей рассказывали, что он был из тех, кому перечить опасно. Смертельно опасно. Вот так же, не повышая голоса и чуть шепелявя, со стаканом виски в руке и сигарой в зубах, он приказал однажды выкрасть четырнадцатилетнюю дочь конкурента, изнасиловать и приковать цепью в шахте, где девчонка три недели покрывалась язвами и исходила поносом, пока не умерла, а когда ему доложили об этом, только пожал плечами.

Скорее всего, это было вранье, но правда была не лучше.

Элли молча оделась и ушла.

В легкой куртке, мини-юбке, на шпильках она прошла семь километров по январскому морозу, пока не поймала такси. Была ночь, таксист запросил «два счетчика», она согласилась, но когда пришло время расплачиваться, вдруг обнаружила, что денег в кошельке кот наплакал. Миллиардер ей не заплатил — ведь он вез к себе на дачу возлюбленную, будущую жену, а не проститутку.

Она отдала водителю все, что у нее было в кошельке.

— Ладно, — со вздохом сказал таксист, расстегивая брюки, — придется тебе поработать, подруга.

И этому таксисту она была благодарна за то, что не избил, а предложил честно поработать, и она честно поработала, хотя и не стала рассказывать об этом Лизе Феникс.

Она была бесконечно благодарна Лизе Феникс за то, что та познакомила ее с Донатасом Таркасом, Доном Тарком, как называли его в театральных кругах. Лиза подвела Элли к высокому мужчине, сидевшему за большим столом в окружении красивых мальчиков, Элли и Дон выпили за знакомство, он стал рассказывать о «Макбете», которого когда-то показал на Эдинбургском фестивале: двадцать пять голых актеров с ножами и дубинами в руках, сбившись в тесную толпу, пятнадцать минут молча били и резали друг дружку, а в финале из горы трупов выбирался Малькольм, весь окровавленный, и говорил: «Мы времени чрезмерно не потратим на то, чтобы со всеми рассчитаться за их любовь...»

— Мне казалось, — сказал Дон, — что я поставил вполне адекватный спектакль. Скажу без ложной скромности, я тогда был молод и невероятно глуп...

К тому времени Элли снялась в шести фильмах, сыграла в нескольких спектаклях, получила премию за главную роль в «Шиксе», купила квартиру на Чистых Прудах, вышла замуж, родила дочь, похоронила мужа, стала владелицей дома в Агуреево и довольно известной актрисой, но по-прежнему время от времени танцевала в

«Фениксе», уступая просьбам Лизы и Молли. Она оставила фамилию мужа, и на афишах теперь ее представляли как Нору Крамер.

— Нора, — сказал Дон. — Нора Крамер. С таким именем Клитемнестру играть, а не в стрип-клубе отплясывать... хотя отплясываешь ты, конечно, дивно...

Дон только что получил «Золотую маску» за «Царя Эдипа», его постановки «Дома Бернарды Альбы», «Иванова» и «Реквиема по монахине» стали выдающимися событиями в русском театре, а на читках «Котлована» в его Лаборатории люди стояли у стен и сидели в проходах. В Москве и Питере его называли человеком театральной национальности и знали как веселого раздолбая, пьяницу и бабника, хотя некоторые утверждали, что он бисексуал. Но всем также было известно, что как только на Дона накатывало, он становился «несносным придурком» — мрачным, неразговорчивым и раздражительным. У него не было проходных постановок, и даже провалы его были интересными, как в случае с «Гамлетом». Спектакли его рождались долго, с трудом, иногда со скандалами. Критики упрекали его в том, что он подбирает исполнителей только «по любви», подчас не обращая внимания на их профессиональные качества.

После встречи в «Фениксе» Дон и Нора стали жить вместе. Пока она пропадала на репетициях, он целыми днями бродил по городу, курил, дремал на скамейке в парке, потягивая из фляжки, перечитывал «Герцогиню Мальфи» и «Белого дьявола», а вечерами, если у Норы не было спектаклей, они устраивались на диване в го-

стиной и смотрели фильмы с Марией Казарес, Изабель Юппер, Анной Маньяни и Тильдой Суинтон.

Нора понимала, что и кровавый Уэбстер, и Мария Казарес выбраны не случайно, и когда Дон сказал наконец, что подумывает о постановке *настоящего* «Макбета», все встало на свои места: он искал леди Макбет. Ему нужна была не «крепкая жопа» вроде Жанетт Нолан, замечательная находка Орсона Уэллса, а «узкая сука».

— Боюсь я этого вашего Макбета, — сказал он, — и бабы его боюсь с ее немытыми руками, и всех этих дурацких пузырей земли, всего этого безвкусного нагромождения ужасов, убийств, призраков, всех этих одномерных людей, одержимых смертью...

— И не оглядывающих даже на Бога, — подхватила Нора. — Живущих в мире, где Бога нет.

— Слово «бог», невзначай вылетевшее из твоего лядского ротика, — сказал Дон, — даже меня заставляет краснеть...

Поперхнувшись вином, разъяренная, рычащая, голая, с распущенными волосами, она отшвырнула бокал и погналась за ним с бейсбольной битой — Дон едва успел юркнуть за дверь.

Это был первый их разговор о будущей постановке.

В те дни Нора завела тетрадь, в которой эскизно записывала их разговоры о «Макбете»: «Убийство — единственная тема трагедии... Атмосфера: готовность к убийству и ожидание смерти, ничего больше... Я — человек, ерго, я убиваю... Все живут здесь и сейчас, не задумываясь об оправдании, не оглядываясь ни на людей,

ни на Бога... ни совести, ни чувства вины, ни любви, ни сострадания — ничего того, что сегодня считается человеческим...

У леди М. был ребенок или дети (акт I, сцена 7), она потеряла мужа и детей, у нее ничего не осталось, кроме жажды власти, желания восстановить если не гармонию, то хотя бы баланс, компенсировать властью потерю мужа и детей, в ее представлении это, видимо, и есть справедливость...

Макбет — орудие для достижения ее целей, но он же — единственный характер в развитии, единственный, кто колеблется и надеется... впрочем, его надежда на *endlosung*, на «решающее убийство», после которого наступят мир и благоденствие, не только ужасна, но и смехотворна...

Спящий свет безумия, спасающий леди Макбет от этой жизни, единственный просвет в этой тьме...

Лишенная любви человеческой, леди Макбет полностью захвачена, одержима *высокой любовью к злу...*»

День за днем они читали пьесу, обсуждая каждый поворот сюжета, каждую реплику, каждый вздох персонажей: ведьмы — пузыри земли... убийство Дункана, подброшенный кинжал, лица, вызолоченные кровью... убийство Банко и снова ведьмы, вызывающие духов... убийство жены и троих сыновей Макдуфа... леди Макбет, моющая руки... Бирнамский лес и Дунсинанский холм... «завтра, завтра, завтра»...

Поначалу, когда заходила речь об этой постановке, Дон говорил «я», но уже через два месяца в его речи все

чаще стали возникать «мы»: «Мы ставим спектакль... мы должны понимать... мы не можем себе позволить...» Вскоре уже не мог видеть в этой роли никого, кроме Норы.

— Если сыграешь ее так же, как трахаешься, — сказал он как-то, — мы сделаем шедевр. Я не шучу: это ведь самая эротическая пьеса Шекспира, она вся пропитана вождением, похотью... это такая кровавая «Камасутра», если угодно...

Он хотел выстроить актерский ансамбль вокруг леди Макбет, единственной активной женщины на сцене, и безжалостно гонял Нору, не давая ей спуска. Иногда он заставлял ее молчать в тех эпизодах, где по сюжету она должна была говорить, побуждая сыграть все смыслы эпизода лицом и телом, и это доводило Нору до дрожи и головной боли. Однажды она не выдержала, заперлась в туалете и разрыдалась. А потом вымыла руки, пытаясь делать это как леди Макбет, смывающая с рук кровь. Она сто раз пыталась смыть кровь с рук, проклиная Шекспира, Дона и леди Макбет. Вставала среди ночи и мыла руки. Однажды в общественном туалете напугала женщин: она смотрела, как они моют руки, и истерически хохотала. Это случилось в ресторане, где они с Доном отмечали первую годовщину совместной жизни.

— Значит, пора, — сказал Дон, когда она рассказала ему о случае в туалете. — Пора звать Тарасика.

Тарасик был вечным мальчиком, белокурым, мягким, с девичьим лицом и уклончивым взглядом. Он не был ни актером, ни режиссером, ни критиком — он был

«человеком театра», который всегда терся в театраль-ных кругах, всегда, как говорят актеры, *подворовывал*, то есть держался в полутени, на полшага сзади и сбоку от главных действующих лиц, всегда был готов сбежать за водкой или за цветами, что-нибудь поднести, подать, на-лить, подставить плечо под угол гроба при выносе тела, влюбиться, разлюбить, завершить цитату, сделать мас-саж усталому актеру или всю ночь выслушивать жалобы расстроенной актрисы, и при этом нельзя было понять, улыбается он, плачет или злится. Он интересовался всем и всеми, знал все сплетни, помнил все имена, а вот им никто не интересовался, никто даже не был уверен, что Тарасик — его настоящее имя, никто знать не знал, на что он живет и вообще что собой, черт возьми, представ-ляет. Но стоило только подумать о нем, стоило помянуть его в разговоре, как он бесшумно выходил на свет, ока-зывался рядом — с этой своей полуулыбкой на милом личике, в каком-нибудь модном жилете, с перстеньками на всех пальцах, готовый идти, бежать, лететь, ползти, карабкаться, пить, есть, плакать, сострадать, лизать и подхватывать...

Встретив Дона, Тарасик влюбился — может быть, впервые в жизни и, похоже, по-настоящему. Он всюду со-проводжал своего кумира, жил в его квартире чуть ли не в кладовке, хотя многие считали, что эта кладовка была на самом деле спальней, а когда в жизни Дона появилась Нора, разрыдался, в сердцах швырнул в него стакан и убежал. Впервые Тарасика видели расстроенным, даже разгневанным — он не мог поверить, что его променя-

ли на эту безгрудую кривоногую стерву с непристойным ртом и мятежным взглядом.

Тарасик вызывал у Норы и брезгливость, и жалость, и раздражение, и желание прибить его тапком, как насекомое, но она вовсе не собиралась ссориться из-за него с Доном.

Дон привык на предпоследнем этапе подготовки к спектаклю советоваться с Тарасиком: этот мальчик знал все тонкости отношений между актерами и часами мог рассказывать об их тайных беременностях и неминуемых разводах, домашних склоках и болезненных пристрастиях, о любовных треугольниках и сексуальных предпочтениях, об их панкреатитах и трахеитах, неврозах и артрозах, а кроме того, обо всех ролях, которые они сыграли в кино или театре...

— Ты просто любишь сплетни, — сказала как-то Нора.

— Я должен собрать ансамбль, — возразил Дон, — команду, оркестр, банду. Я должен быть уверен, что они будут грабить и резать без колебаний, а не бросятся наутек в случае опасности.

Дон и Тарасик начали встречаться с продюсерами, актерами, художниками, музыкантами, и вскоре вся театральная Москва заговорила о новом проекте выдающегося режиссера, собирающего лучшие силы для постановки «Макбета». Известно было, что на роль Макбета Дон выбрал Ермилова, прославившегося в «Живом труппе». Все гадали, кто сыграет главную героиню, но имя исполнительницы Дон пока не называл. Поговаривали, что за

декорации взялся сам Кропоткин, художник с мировым именем.

А вскоре начались репетиции, и их жизнь изменилась.

Уже через неделю квартира была завалена клочками бумаги, эскизами, разноцветным тряпьем, шпагами, лаптами, барабанами, знаменами, пустыми бутылками, пластиковыми стаканчиками и женскими трусиками. Дон репетировал сначала в театре, подбадривая себя коньяком, а потом вел всю актерскую ватагу к себе, и тут, в его квартире на Покровке, репетиция возобновлялась, чтобы к ночи превратиться в оргию. Утром Тарасика — а он под шумок поселился на Покровке — посылали за пивом, все опохмелялись, потом голый Дон гонялся с метлой за упившимся кавдорским таном, пытаясь выгнать его вон, потом все отсыпались, а вечером отправлялись на репетицию в театр, и все повторялось...

Однако месяца за два до генеральной репетиции жизнь изменилась снова. Никаких пьянок, никакого разгула, никаких женских трусиков на полу и блевотины по углам. Ермилов оказался прекрасным партнером — Нора наслаждалась работой.

Однажды все перекошилось и чуть не рухнуло.

Нора поймала Тарасика с амфетамином, пригрозила полицией. Но мальчик не испугался.

— Я не вожу телег, не ем овса, — сказал он. — Делаю то, что в моих силах. — Подбросил в руке пакетик с таблетками. — Только так он выдерживает весь этот дурдом... говорит, что ему надо поддерживать тонус, и других способов знать не желает...

— Но ведь это не может долго продолжаться...

— Организм у него медвежий, да и дальше тремы пока не доходило...

— Тремы?

— Начальная форма бреда при шизофрении, — с улыбкой сказал Тарасик. — Я, кстати, врач по диплому. Психиатр.

— М-м... а потом?

— А потом больница, рехаб, мир и покой. До новой постановки. Так он устроен. Увы, дорогая Нора, *to be thus is nothing, but to be safely thus...*¹

Тем вечером она поймала насмешливый взгляд Тарасика, сидевшего рядом с Доном на диване, рука в руку, и поняла, что если она ничего не предпримет, Дон для нее будет потерян.

После генеральной репетиции она втокнула Дона в машину и отвезла в Агуреево, в свой загородный дом.

Всю дорогу она молчала, а Дон прикладывался к фляжке и болтал без умолку, говорил, что трагедия сейчас никому не нужна, потому что и в России, и в мире все больны, все слабы, а трагедии нужны только сильным и здоровым людям, но не нынешним сильным и здоровым людям, потому что они сегодня поголовно — качки и дебилы, такова уж эпоха, которая нам выпала, эпоха, не заслуживающая ни оплакивания, ни осмеяния...

¹ «Быть тем, кто ты есть, значит не быть никем, если не можешь быть им без опаски», «Макбет», III, 1 (*англ.*).

— А зачем, собственно, мы сюда приехали? — спросил он, когда они раздевались в прихожей.

— Ты показал мне свою темную сторону, — сказала она, — теперь мой черед. — И распахнула двери в гостиную. — Нюша, познакомься с моим другом.

Улыбка погасла на лице Дона, когда он увидел Нюшу.

Девочка шла через гостиную, при каждом шаге резко заваливаясь на правый бок. Она смотрела на Дона, сдвинув брови на переносье. Лицо у нее было напряженным и мрачным.

— Донатас, — сказал он, протягивая руку. — Это литовское имя. Я родился в Паневежисе. Это маленький красивый городок в Литве... но я там давно не был...

— Почему? — спросила Нюша, остановившись перед ним и будто не видя протянутой руки.

— А я вырос в России... в Новосибирске, потом в Москве... отец был военным, много ездили...

Девочка посмотрела на мать.

— А где Рита? — спросила Нора.

— У нее сегодня гости.

— Уже поздно, Нюша...

— Спокойной ночи, — сказала девочка. — Кивнула Дону. — Тебе тоже, литовец.

Дон не мог отвести взгляда от ее спины, а когда дверь за девочкой закрылась, шумно перевел дыхание.

— Ей скоро десять, — сказала Нора. — Две неудачные операции. Из-за нее боюсь рожать второго...

— Красивая ведь девочка, — сказал Дон.

— Тем больше...

Дон промолчал.

— Растет злюкой и сучкой, — сказала Нора. — Нет, я не схожу с ума от чувства вины, но не хочу ее потерять. Не могу. Ты — часть моей жизни, а она — моя жизнь. — Помолчала. — Ты мне очень дорог, но так уж получилось, что мне не приходится выбирать... а у тебя есть выбор...

Дон привлек ее к себе, обнял.

— Я попробую, — сказал он. — Попытаюсь.

В день премьеры она с утра пораньше уехала к Молли — хотелось одиночества.

Подруга по стрип-клубу дважды побывала замужем, оба мужа погибли в бандитских разборках, оставив вдове по квартире. Четырехкомнатную на Страстном Молли сдавала и жила на эти деньги с третьим мужем в Риеке, а вторую держала «для себя» — ей нравился вид из окон на Царицынский парк.

Приезжая в Москву, Молли обязательно звонила подруге. Они гуляли по парку, обедали где-нибудь в центре, заглядывали к Лизе Феникс, потом допоздна болтали на скамейке в парке, потягивая из фляжки.

Молли не отличалась ни вкусом, ни умом, часто сотовала на свою худобу: «Любовь любовью, а толстые сиськи всегда сверху», но была единственной задушевной подругой.

Нора купила булку и до обеда кормила уток в парке.

Было холодно, парк на другом берегу пруда был черным и золотым.

Плотно пообедав, она поспала, укрывшись одеялом с головой, потом выпила чаю и попыталась дозвониться

до Дона — его телефон молчал. Что ж, они договорились явиться в театр порознь, волноваться было незачем.

В баре у Молли всегда был хороший выбор напитков. Нора наполнила маленькую фляжку испанским бренди, перекрестилась перед зеркалом, вызвала такси и отправилась в театр.

После всех одеваний-переодеваний, после того как Розочка превратила ее лицо в яркую маску, Нора осталась, наконец, одна. Глотнула бренди, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Скоро начнет заполняться зал, скоро заскрипят кресла, застучат каблуки, зашуршат платья, запахнет духами, скоро ударит первый звонок, все звуки болезненно усилятся, кто-то непременно пробежит по коридору, шепотом чертыхаясь, где-то что-то упадет, второй звонок, пальцы на ее левой руке вдруг онемеют, третий звонок, и вот первые звуки — тихий скрежет, постукивание, хруст, и вот вступает первая ведьма: «Когда нам вновь сойтись втроем в дождь, под молнию и гром?», и скоро выход Норы — она окажется лицом к лицу с тысячеглазым чудовищем, жадно внемлющим, жарко дышащим в мерцающей золотом полутьме и жаждущим ее крови...

Но на этот раз все было иначе. Сначала она услышала негромкие голоса за дверью, потом без стука вошел помреж Осинский, какой-то слишком большой, слишком бледный, и сказал, глядя на нее в зеркало, что Дон умер. Она повернулась к нему, и он, опустив глаза, повторил: «Умер». В ее грим-уборную вдруг набилось множество людей, и все говорили, кто-то шепотом,

кто-то слишком громко, какая-то женщина плакала, все говорили и говорили — о Доне, лежащем сейчас на полу в своей гостиной на Покровке, раскинув руки, в окровавленной белой рубашке, две пули в грудь, Боже, две пули в грудь, да что ж это такое, все говорили о Тарасике, об исчезнувшем сукином сыне Тарасике, его ищут, но черта с два его найдешь, этого протейческого мерзавца, этого безликого получеловека-полутень, этого *превращенца*...

— Превращенца?

Нора вдруг рассмеялась.

Осинский принес рюмку коньяку — Нора выпила залпом.

— Нет, — сказала она, — ничего отменять не будем. Играем!

И все вдруг замолчали, кто-то вышел, за ним остальные, и через минуту она осталась одна — перед зеркалом, лицом к лицу с незнакомой женщиной, узкой сукой, размалеванной, с тяжелым взглядом и сухим блеском в глазах. Ее позвали, и она бросилась к сцене, перевела дыхание, кивнула, взяла онсмейшими пальцами письмо, вышла из-за кулисы, стала читать письмо вслух, не глядя по сторонам: «Они повстречались мне в день торжества; и я убедился достовернейшим образом, что они обладают большим, чем смертное знание...» А потом, дождавшись своей очереди, вскинула голову и, глядя в лицо Макбету, с улыбкой заговорила таким голосом, что даже у кавдорского тана мороз побежал по коже: «О, никогда над этим утром солнце не взойдет!..»

Она доиграла спектакль до конца, дождалась выхода на поклоны, покивала, поулыбалась, потом вернулась в грим-уборную, попыталась запереться, но не смогла попасть ключом в замочную скважину и потеряла сознание, упав под дверь с ключом в судорожно сведенной руке.

Нора очнулась, выползла из-под одеяла — на ней ничего не было — и пошла в темноту, пошатываясь и ориентируясь на звук, который ее разбудил.

Странный звук — как будто кто-то напевал песенку без слов, тихонько хлопая при этом в ладоши.

Выставив перед собой руку, она брела по коридору, который не был коридором в ее квартире или загородном доме, но почти не думая об этом. Сил не было, чтобы думать о чем бы то ни было. Думать и делать — не было сил. Если и возникала мысль, то угасала сама собой, не получив ни крови, ни духа. У Норы не было ни крови, ни духа — только вялое тело, которое лежало пластом в чужой спальне, иногда сползая с кровати, чтобы справить нужду. Если бы не этот странный звук, она не тронулась бы с места. Странный звук...

Она остановилась, почувствовав, что коридор кончился и впереди, в темноте, ее ждало большое пространство, большая тьма, из которой пахло скипидаром и доносился странный звук.

Нащупав перила, спустилась по лестнице и двинулась на звук.

Глаза привыкли к темноте. Она различала очертания каких-то предметов — квадраты, прямоугольники, обо-

шла стул, увернулась от тяжелой ткани, свисавшей с потолка, и увидела свет.

На полу и на стульях горели свечи, бросавшие слабый мерцающий свет на мольберты, картины, ящики, коробки, разбросанное всюду тряпье, на валявшиеся под креслом грубые башмаки, на огромного зверя, который издавал странные звуки, похлопывал в ладоши и приплясывал на пятачке среди колеблющихся огоньков.

Этот голый зверь был сплошь покрыт черным густым волосом, и от него пахло крепким потом и скипидаром, а когда он повернулся к Норе, она почувствовала такой запах перегара, что в голове помутилось, и она упала бы, не подхвати ее чудовище.

Он отнес ее наверх, в спальню, уложил, бережно укрыл одеялом.

При свете торшера, горевшего в углу, Нора наконец смогла разглядеть его. Это был, черт возьми, Кропоткин, художник, оформивший постановку «Макбета». Раза два или три он приходил на Покровку, чтобы обсудить декорации и костюмы, приносил эскизы, и Нора даже поругалась с ним из-за нелепой шапки, которую должна была носить леди Макбет. Впрочем, никакой ссоры и не было — сошлись на уборе, напоминающем тот, что был на голове Жанетт Нолан в фильме Орсона Уэллса, хотя Кропоткин считал, что эта шапка будет «квадратить» Норино лицо. Да, квадратить — он так и сказал: «Квадратить». Они тогда выпили на брудершафт и поцеловались в губы. У Кропоткина были мясистые, толстые губищи сладострастника, а глаза маленькие, слишком

близко посаженные. Потом он несколько раз приходил на репетиции. А еще, вспомнила она, он почему-то оказался в ее грим-уборной, когда Осинский сказал, что Дон умер. Кропоткин стоял в углу, возвышаясь над всеми, и не сводил с нее взгляда. На нем были пиджак и галстук-бабочка — выглядел художник очень импозантно. А голый — обезьяна обезьяной. Горилла. Орангутан. Шапка густых курчавых волос на голове, бородаща, грудь, брюхо — сплошные заросли, из которых высовывается гигантский член.

Нора улыбнулась, Кропоткин хмыкнул, сел на край кровати так, чтобы члена не было видно, и стал рассказывать о том, что произошло.

Он был в восторге от спектакля, восхищен игрой Норы и первым прибежал к ней с цветами, постучал — никто не ответил, попытался открыть дверь грим-уборной, увидел в щель руку Норы на полу, налег, ворвался, подхватил и бросился в больницу. На следующий день он перевез ее в клинику Мильштейна, а через неделю — к себе.

— Шок, нервный срыв, депрессия, — сказал он. — Вы спали три недели, пришлось подвергнуть вас искусственному кормлению. Потом стали просыпаться...

— Три недели, — пробормотала Нора. — А что сегодня? Какой день?

— Пятое, — сказал Кропоткин. — Декабря пятое. Вы здесь давно, Нора.

— Значит, я валяюсь тут...

— Больше двух месяцев.

— Твою ж мать... — Она слабо улыбнулась. — И больше двух месяцев я сигаю тут голышом?

— Ага, — сказал Кропоткин. — Голизна вам идет.

— Голизна... А кто играет леди?

— Шувалова-младшая. Говорят, хорошо играет. Я собрал все газеты, где о вашей премьере написано. Резюме: всеобщий восторг. Семеновский написал, что и вообразить не мог, что на театре можно играть *так*. Лучшая леди Макбет в истории русского театра, плетена мать. А почему он написал «на театре»? Жаргон?

— Да, — сказала Нора. — Зрители говорят в театре, актеры — на. На театре.

— Завтракать будете?

— Не знаю... — Похлопала ладонью по одеялу. — Полежите со мной, пожалуйста. Просто полежите. Нет, под одеялом. Под, а не на.

Он лег рядом.

— Мне, Нора, вы можете довериться без страха, — сказал он весело, когда она прижалась к нему. — Я — импотент, плетена мать. Люблю целоваться, обжиматься, а что касается остального...

— Ну так поцелуйте меня, — перебила она его. — В губы...

Новый год они встречали в Провансе.

Бывшая жена Кропоткина уехала в Австралию, оставив ему ключи от квартиры в Арле и загородного дома.

— Похоже, — сказала Нора, — она тебя все еще любит...

— Ну какая у них тут любовь! Если б они любили, то есть по-настоящему, как встарь, Европа была бы завалена трупами от Варшавы до Лиссабона... не пройдет и ста лет, как они все станут андрогинами — счастливыми андрогинами...

Взяли с собой Ньюшу и Риту, которая была для девочки и няней, и учительницей.

Летели до Парижа, оттуда поездом до Нима, где Кропоткин арендовал машину, на которой они за полчаса добрались до Арля, припарковались во дворе старинного дома, выходявшего фасадом в сквер на площади Форума, и отправились ужинать.

Потом прогулялись по узким средневековым улочкам, на которых изредка попадались лишь арабы в галабиях, встретили Новый год на площади Республики — в толпе, с шампанским в пластиковых стаканчиках, вернулись домой, свалились.

Нора долго не могла уснуть, думая о Кропоткине, который овладевал людьми с такой легкостью, будто и не слышал никогда о том, что все гении — неуживчивые, замкнутые люди с серной кислотой вместо крови. Он поселил Нору в своем доме, и она сразу подчинилась ему, не чувствуя себя при этом ущемленной, изнасилованной. Он не заигрывал с Ньюшей, просто протянул руку не глядя, и злючка Ньюша взяла его за руку и пошла рядом, словно они всегда так ходили. Он не подлизывался, не уговаривал, не требовал, но все вели себя так, как ему нравилось, потому что им нравилось быть избранными, тронутыми им. Когда он обнимал Нору своими могучими волосаты-

ми лапами и прижимался к ней мохнатым животом, она чувствовала себя как в детстве, когда еще не знала, что несчастна. Наверное, все дело в его огромности, думала Нора, в его невероятной физической силе, которая притягивает, вовлекает в свою орбиту малые тела. Однажды, еще в Москве, она видела, с какой яростью он орудовал молотом, разбивая на мелкие кусочки свою неудачную скульптуру, видела его лицо, изуродованное злобой, и слышала его рычание, от которого у нее мурашки побежали по спине. Но когда он с урчанием сосал пальчик на ее ноге, она словно лишалась веса. Это было не наслаждение, а счастье. Многие мужчины доводили ее до оргазма, но до счастья — только он.

Незадолго до отъезда из Москвы она спросила, что же произошло с Доном, и Кропоткин выложил все, что знал.

Тарасика взяли на даче, принадлежащей известной театральной старухе, и на первом же допросе он признался во всем. В том, что любил Дона до помрачения ума, в том, что страдал, видя его с Норой, в том, что мог вытерпеть что угодно, только не холодное презрение, которым Дон окатил его, когда он, Тарасик, утром того рокового дня попытался от избытка чувств поцеловать руку любимого мужчины, только руку, эту прекрасную мраморную руку, украшенную чуть вздувшимися голубоватыми жилами, но вместо понимания, любви, вместо жалости Дон отдернул руку, скривился и зашипел, вытирая пальцы о рубашку: «Пшел вон, дурачина!», и этого Тарасик вынести не мог, нет, не мог, потому что понял: это конец, выбежал в при-

хожую, достал из сумки пистолет, догнал Дона в гостиной, закричал, сорвался на визг и торопливо выстрелил три или четыре раза, а потом рухнул рядом с окровавленным телом и зарыдал, целуя его руки, эти божественные руки, украшенные голубоватыми жилами...

— Что с ним? — спросила Нора. — С Тарасиком что?

— Повесился в камере, — ответил Кропоткин. — Язык у него висел до пупка... лиловый язык...

Нора выслушала эту историю с хмурым видом. Ей казалось, что все это произошло давно, очень давно. Дон был частью ее жизни — той частью, которая умерла. А вот Кропоткину она свою жизнь отдала — легко, без сопротивления, содрогаясь от счастья...

Они прожили в Провансе почти три месяца.

Днем было тепло, солнечно, они гуляли по улочкам Арля в распахнутых куртках, Рита учила Ньюшу правильно выговаривать названия книг, выставленных в витрине: «Ля философи дан ле будуар, Ньюша, ле здесь не лё! Эпитр а ма мэн гош, Ньюша! Вояж о бу де ля нюи, Ньюша, нюи, милая, нюи...»

В Авиньоне Рита вдохновенно рассказывала о некоей знатной даме, которой власти средневекового города разрешали появляться на людях не чаще раза в неделю, да и то на балконе и под вуалью, дабы красота этой семидесятилетней женщины не вызвала массовых волнений.

В Тарасконе Нора впервые увидела, как в церкви Святой Марты Кропоткин перекрестился.

— Ты верующий? — спросила она.

— Христианин должен быть светочем, а я иногда лампочку в комнате боюсь включить, — ответил он уклончиво.

Недели две они жили в загородном доме Клэр, бывшей жены Кропоткина. Она занималась историей русского искусства, в доме было полно старых и новых книг, изданных в России. Нора взяла одну — это был Биbihин, зачитанный, захватанный, с закладками и пометками, открыла, сразу наткнулась на абзац, рядом с которым на поле стоял жирный восклицательный знак: «Для полноты надо, чтобы многое с человека осыпалось, или было бы даже уж пусть хоть насильственно содрано как одежда, и надо, опять же для полноты человека, чтобы он взял себя ВМЕСТЕ с пределом, границей, имена которой нищета, сон, смерть, молчание рыбы, молчание куста. Как раз когда человек, ощупывая себя в панике, видит исчезновение своего всестороннего и беспредельного развития, если он не поддастся панике, у него откроется второе дыхание. Или впервые откроется дыхание...»

— Твои пометки? — спросила она. — Вот тут... и здесь...

— Угу, — сказал Кропоткин. — Это мечта. Замолчать *так* — это мечта.

В музеях, церквях, кафе — Нюша всюду старалась держаться ближе к Кропоткину. Она ковыляла рядом с ним, и вид у нее был такой, словно правая ее нога не была короче левой на одиннадцать сантиметров.

В конце марта они прилетели в Москву, и через неделю Нора вернулась в театр.

Она долго не решалась играть леди Макбет, а когда все-таки вышла на сцену в короне, которая квадратила ее лицо, то разочаровала зрителей, ожидавших от нее той взбесившейся психопатки, страдающей высокой любовью к злу, какой она была на премьере, а не этой холодной гадины, неумолимой машины зла, перемалывающей людей и себя.

Однако критик Семеновский, которого театральные не любили за его резкость, вдруг разразился благожелательной статьей, в которой писал, что мы должны быть благодарны судьбе и Норе Крамер за то, что полгода назад стали свидетелями чуда, а чудо неповторимо. Известно, замечал Семеновский, что физически невозможно играть на сцене изо дня в день с такой самоубийственной отдачей всех сил, это свойственно скорее новичкам, дилетантам, а не профессиональным актерам, отдающим театру всю жизнь. Мы, писал он, видели такую леди Макбет, какой, пожалуй, еще не бывало в истории театра и, возможно, никогда больше и не будет. И нам, писал Семеновский, остается надеяться на то, что Нора Крамер, актриса поистине великих возможностей, поразит нас еще и в других ролях...

Прочитав эту статью, Нора с улыбкой пожала плечами: все было проще — она не могла вернуться к своей блевотине, к Дону в окровавленной рубашке, к его мраморным рукам с голубоватыми жилами, к Тарасику с его лиловым языком, висевшим до пупка, к той Норе, какой она тогда была...

Осенью Кропоткин сделал Норе предложение.

— А лампочки у нас не перегорят? — со смехом спросила она.

— Заменим, — ответил он. — А нет, так будем жить во тьме, как все.

Венчались в Знаменской церкви — так пожелал Кропоткин.

Он часто бывал в этой церкви, через дорогу от которой, за невысоким забором, лежало «расстрельное кладбище», где были похоронены прадед и дед Кропоткина — старый большевик и старый меньшевик.

В церкви Нюша была мрачной, холодной, раздражительной, и Нора понимала: дочь влюблена в Кропоткина и теперь ревнует его к матери. Что ж, у девочек не бывает неопасного возраста. Это надо пережить, перетерпеть.

Нора радовалась близости Нюши и Кропоткина, хотя иногда при взгляде на них, устроившихся на диване в обнимку и рассматривающих какой-нибудь альбом, в душе ее поднималась смута. Но не могла же она мешать их сближению. Приходилось мириться с тем, что у Нюши теперь есть *мужчина* — и друг, и отец, и возлюбленный, тем более что их отношения не переходили границ допустимого.

Однажды Нора слышала, как Кропоткин сказал Нюше: «Не возвращайся в прошлое и не думай о вечной жизни, это все брызги и тень. Учись ходить в немощи, и в ней будет совершаться сила Божия. Искусство немощи — это высокое искусство, учись ему. Помнишь фарисея из евангельской притчи? Господь сравнил его с кающимся мытарем. Дело не в том, что этот фарисей гордился свои-

ми делами, это чепуха. Фарисей на то и фарисей, плетена мать, чтобы понимать, что всем обязан Богу. Просто этот фарисей неправильно понимал праведность. Даже благодаря Богу, можно любоваться собой...»

Получалось, ее дочь, которую она крестила, потому что так поступали все, стала верующей, читает Евангелие и помнит какого-то там, черт возьми, фарисея, владеет специальным языком и умеет думать специальным образом, как думают настоящие верующие. Нора этим языком не владела, а значит, для дочери она была глухонемой. И понимала, что нельзя просто так взять да выучить этот язык, как учат английский или латынь, — этого мало, чтобы войти в иной мир, такой чуждый карнавальному миру театра, в котором христианин или язычник — не судьба, а роль...

Она все готова была терпеть, потому что Кропоткину удалось то, что не удавалось ни хирургам, ни высокооплачиваемым психологам, ни даже Рите, которая давно стала для ее дочери и старшей сестрой, и подружкой: Нюша больше не считала себя лишней, ненужной, уродливой — она светила, когда видела Кропоткина, и этого света хватало даже матери, хотя до нее этот свет доходил, утратив весь жар...

Первое замужество Норы было каким-то глупым. Она была тайно влюблена в своего учителя Ксавье, оказавшегося гомосексуалистом, она была в отчаянии, когда Ксавье посадили в тюрьму, она была одинока, некрасива, талантива, после школы попыталась поступить в медицинский лицей, но неудачно, о том, чтобы уехать в Москву, в те-

атральное училище, и думать боялась, да и денег не было, в общем, как ей казалось, замужество было решением всех проблем. Соседский парень Миша подходил для этого не хуже других, раз уж она решила жить не своей жизнью.

Не вышло.

Сначала она родила ребенка-кататоника, от которого вскоре пришлось избавиться, потом эти полулюб-морочные месяцы в магазине среди банок с красками, дома перед телевизором, водка с лимонадом, Бензина с ее мечтами о московских «глаголах», ее баянист, а однажды Миша вдруг схватил нож, закричал: «Да провались оно все пропадом!» — и перерезал себе горло на глазах у жены, тещи и баяниста, забрызгав всех кровью, и все рухнуло, и она оказалась в центре мира, окруженная развалинами и мертвыми телами, и бежала в Москву, прихватив из прежней жизни только мужнину фамилию — Тавлинская...

Второе замужество тоже было недолгим.

Она тогда жила веселой и страшной жизнью, как в горячечном сне: утром занятия в театральном училище, Станиславский и Гротовский, запахи канифоли и клея, сосиска в тесте на бегу, львы, орлы и куропатки, а вечером — вечером она становилась Бешеной Элли: шест, боль, яркие огни, стодолларовые купюры в трусиках, кипящий в венах спирт, пальцы мужчин, униженные толстыми перстнями, красные пиджаки, голды на бычьих шеях, тестостерон, пачки денег, перевязанные резинкой, труп голой татуированной девушки в туалете, забрызганном кровью, «мерседесы» на пустынных черных улицах, ро-

зовое шампанское, беретта и ролекс на ночном столике, россыпь таблеток на ковре, секс с человеком, который утром даже не спрашивал, как ее зовут, и снова львы, орлы и куропатки...

Генрих Крамер, потомок крымских немцев, выдернул ее из этого круговорота и увез в Италию, где они провели месяц, путешествуя по Сицилии, а потом по Тоскане, и во Флоренции, в кафе рядом с площадью Синьории, сделал ей предложение — встав на колени, с кольцом в коробочке, выложенной атласом, со скрипачами в плоских шляпах, вдруг окружившими их столик, на который официанты водрузили громадную вазу с алыми розами...

Свадьба в Большом Кремлевском дворце, тысячи гостей — журналисты, нажившиеся на торговле противогазами, политики в шелковых пиджаках, бесполое существо в черной лаковой коже, звезды шоу-бизнеса в очках с бриллиантами, известный врач в кашемировом пальто до пят, в широкополой шляпе, с тигренком на поводке, седовласые отставные шпионы с сигарами, вчерашние политзаключенные, беседующие с бандитами, одетыми в костюмы от Версаче, наследник российского престола в окружении князей и графов — детей палачей НКВД, расстреливавших князей и графов, известный целитель в белоснежной хламиде, украшенной голубыми крестами, министры, спортсмены, евреи, актеры, грузины, епископы и водолаз в полном облачении, в медном шлеме с фонарем, едва передвигающийся от стола к столу в башмаках со свинцовыми подметками...

А потом был медовый месяц во Франции, где Генрих арендовал Гранд Опера, чтобы еще раз отпраздновать свадьбу с теми друзьями, которые по разным причинам не могли показаться в России, после чего они поехали в Аквитанию...

Дом в Москве, поместье под Биаррицем, роскошный особняк на Рублевке и уютный коттедж в Агуреево, десяток лимузинов и джипов в гараже, бронированный «мерседес» с мигалкой, лучшие рестораны, лучшая еда, лучшее вино, лучшая одежда, сотни людей вокруг, готовых исполнить любое ее желание...

Просыпаясь по утрам, она первым делом бежала в ванную, чтобы убедиться, что это не сон — этот испанский кафель, эти золотые краны, фарфор и фаянс, эта розовая ванная с джакузи, бар с шампанским и массажное кресло под балдахином рядом с душевой кабиной.

Она не верила, что все это — деньги, дома, лимузины и балдахины — надолго, навсегда, да и никто тогда не верил, что такая жизнь — навсегда...

Генрих хотел ребенка, и вскоре Нора забеременела. Выступления в стрип-клубе, спектакли, роли в кино — все это уходило в прошлое, и Нора не знала, вернется ли на сцену, и не знала, хорошо это или плохо, и что будет дальше — тоже не знала. Впервые в жизни ее несло течением, и бороться с этим течением было не нужно, да и не хотелось...

В тот день, когда Нюше исполнилось три месяца, Генриха застрелили в очереди у «Макдональдса» на Пушкинской площади. Вокруг носились на скейтбор-

дах мальчишки, ловко прыгавшие через бордюры и ограды и воровавшие со столиков кока-колу и гамбургеры, один из них вдруг въехал в толпу, дважды выстрелил в Генриха, бросил пистолет и умчался, размахивая пакетиком с краденой картошкой фри. Генрих умер на месте. Почему вдруг человек, презиравший фаст-фуд, оказался в этой очереди, кто и за что его убил — никто так и не узнал.

В газетах писали, что Генрих Крамер нажил состояние на посредничестве в сфере внешнеэкономических связей. Бизнесменов, возивших из-за границы дорогую мебель, сантехнику и стиральные машины, он сводил с министрами, с которыми учился в школе или институте. Подпись министра на документе, облегчавшем ввоз итальянских стульев, стоила двести-триста тысяч долларов. Сколько перепадало Генриху — об этом можно было только догадываться.

После похорон Нора вздохнула с облегчением: морок рассеялся, она снова была одна.

Ей не хотелось затяжных военных действий с многочисленными родственниками мужа, с его дедом, матерью и сестрами, племянницами, бывшими женами, их детьми, претендовавшими на имущество Генриха. Она согласилась на отступные: пособие для Ньюши и дом в Агуреево, где в гараже стоял новенький «крайслер», который на языке того времени назывался «кукурузником».

С первым мужем она прожила четырнадцать месяцев, со вторым — шестнадцать, с Кропоткиным — почти шесть лет.

После репетиций она иногда заглядывала в кабинет старика Полонского, заведующего литературной частью театра, который угощал ее душистым чаем с капелькой коньяка и милыми нравоучительными историями. За свою жизнь он был девять раз женат и сочинил около двух десятков развлекательных романов под разными псевдонимами.

— Искусство романа сродни искусству семейной жизни, Нора, — рокотал он, дымя сигаретой. — У этого искусства есть название — искусство болтовни. Надо ведь заполнять чем-то все эти страницы и все эти годы, причем так, чтобы это не убивало ни книгу, ни брак. В юности мне казалось, что как только я скажу жене: «Передай, пожалуйста, соль», наш брак рухнет. Стендаль писал, что если он однажды подойдет к окну и воскликнет: «Какое прекрасное утро!», то сразу же возьмет пистолет и застрелится. Каждая фраза должна быть значимой, думал я. Как у Софокла или Шекспира. Но жизнь состоит из ничего не значащих слов, дурацких реплик и прочего мусора, и дело не в мусоре, а в нас... Вот, скажем, чеховские пьесы почти целиком слеplены из такого мусора, а мы страдаем и плачем... Сегодня мы в каждой строчке Пушкина или Шекспира выискиваем глубокий смысл, но, возможно, для авторов эти строчки были неизбежным злом — прекрасным мусором, заполняющим пустоты... В том-то и заключается разница между Пушкиным и мной, что мусор у нас разного качества... Искусство болтовни, Нора, это высокое искусство, это известь, которая скрепляет людей не хуже водки и секса... еще капельку?

И они пили из крошечных рюмочек, поднимая тост за известь.

В ее семейной жизни лампочки не перегорали, но напряжение в сети перестало скакать. Нора осваивала искусство быть женой. Она по-прежнему была счастлива в объятиях Кропоткина, но могла обходиться и без этого, если муж бывал занят. А занят он бывал все чаще, сутками пропадая в мастерской.

В одном из интервью, отвечая на вопрос о творческом кризисе, Кропоткин сказал, что переживает кризис с пятилетнего возраста. В семидесятые-восьмидесятые годы он был среди первых звезд андеграунда, побывав и абстракционистом, и концептуалистом, и даже каким-то неометафористом. В конце восьмидесятых он создал работы, принесшие ему мировую известность и, разумеется, деньги. Этот период в его творчестве искусствоведы назвали периодом «красного и черного» — две краски придавали образам мощное звучание, хотя смысл картин угадывался с трудом, мучительно пробиваясь сквозь напластования буйных и мрачных цветов. Как писал один из критиков, «смысл мерцает где-то там, в глубине, где корчатся догорающие люди». Многие отмечали, что Кропоткин движется к фигуративной живописи. Важным этапом в его творчестве стали декорации к «Макбету» Донатаса Таркаса, цветовая гамма которых контрастировала с тональностью шекспировской трагедии.

Нора заметила, как в Провансе Кропоткин с удовольствием делал в дорожном альбоме карандашные наброски портретов стариков, куривших в кафе над сво-

им полуденным бокалом вина, наброски Ньюши и Риты, игравших в шахматы, розовой пышки из дома напротив, которая любила по утрам голышом выкурить первую сигарету на балконе...

Карандашные портреты Норы, Ньюши, стариков и старух, бомжей с Плешки, Дона, Тарасика, Молли, священника Знаменской церкви и лодочников из соседнего села были развешаны в его мастерской всюду — перед ними Кропоткин разгуливал голышом, потягивая коньяк из горлышка, рычал, чертыхался или спал, завернувшись в старую штору...

Нюша с презрением отказывалась позировать в ателье, где висели ню матери, поэтому Кропоткин писал ее в саду или на крыше флигеля, в котором когда-то предполагалось устроить бассейн.

Самой благодарной его моделью оказалась Рита. Этой веселой курносой толстушке, обладавшей тонкой талией и пышными бедрами, страсть как хотелось быть «запечатленной». Она по первому слову сбрасывала одежду и с радостью, кокетливо хихикая и чуть розовея от смущения, демонстрировала хорошо пропеченные груди и глянцевые тугие ягодицы, пока художник разглядывал ее, задумчиво покусывая курчавый ус.

Нора не удивилась, узнав о ночных сеансах в мастерской, после которых учительница выходила к завтраку, стараясь не смотреть в глаза хозяйке, — удивилась тому спокойствию, с которым приняла эту новость. Вспомнила любимую поговорку Молли: «Любовь любовью, а толстые сиськи всегда сверху» — и сделала вид, что

ничего не происходит. Как говаривал старик Полонский, проблемы никогда не решаются — они проходят.

С Митей Бессоновым ее познакомил Полонский.

Они пили чай в его кабинете, когда старик сказал, что один журналист пишет о ней книгу и очень хотел бы познакомиться со своей героиней.

— Я так стара, что обо мне уже книги пишут? — попыталась пошутить Нора.

— Он большой ваш поклонник, Нора, — сказал Полонский. — И поверьте, будет лучше, если он напишет эту книгу под вашим присмотром... получит информацию от вас, а не о вас... вы обаятельная женщина, а он никак не может изжить комплекса провинциала и до сих пор не поймет, то ли он Растињьяк, то ли Жюльен Сорель, то ли все-таки Митя Бессонов...

В те дни Нора переживала провал. Она возлагала большие надежды на «Федру», которую ставил Уманский, но ей не удалось вернуться на вершину, достигнутую в «Макбете». Хотя критики сдержанно хвалили ее, хотя билеты на спектакль были распроданы до конца сезона, Нора понимала, чувствовала, что ей не удался этот образ. Она тянула из себя все жилы, вставала на цыпочки, но все было безрезультатно. Поговорить об этом с мужем никак не удавалось — он все глубже погружался в работу, дочь по-прежнему обдавала ее холодом при каждой попытке сближения, а Лиза Феникс, с которой она провела несколько ночей, отчаянно напиваясь и занимаясь любовью, была женщиной мудрой, но, увы, не умной...

Через неделю она встретила с Бессоновым в маленьком кафе на Никитской.

Журналист оказался очень высоким, широкоплечим молодым мужчиной с боксерским носом и пронзительно-голубыми глазами. Держался он довольно скованно и был одет в какие-то случайные вещи: ботинки хорошей кожи, грушковые штаны и турецкую куртку-косуху с базара, которая была ему явно мала.

Бессонов жадно выпил водки и сразу заговорил о ее ролях. Он смотрел все спектакли с ее участием, все фильмы и бывал на всех ее выступлениях на Малой сцене МХАТа, где она читала стихи и прозу. Финальную же сцену в «Федре», когда царица, принявшая яд, признается мужу в своей преступной страсти, Бессонов считал «шедевром исполнительского искусства», «в котором эротическое напряжение обреченной любви сопоставимо со смертоносным эротизмом леди Макбет»...

— Но роль-то я провалила, — сказала Нора. — Просто — провалила.

— Провалила, — со вздохом сказал Бессонов. — Ну бывает...

И вдруг рассмеялся — так рассмеялся, что Нора не смогла удержаться от улыбки.

Они чокнулись.

Стало легко и чуть пьяно, и они заговорили о книге.

Бессонов включил диктофон, и Нора услышала голос своей матери — Бензина пела с надрывом под гитару любимый романс:

Куплю я коробочку спичек
И в теплой воде разведу,
И долго я думать не стану,
Сейчас я отраву приму...

— Боже, — сказала Нора, — вот, значит, как. Значит, без пощады? Вычерпаем до дна? Вы и до матери добрались...

— И до Ксавье. Но еще не поздно, — сказал Бессонов. — Если прикажете, могу остановиться...

— Ну уж нет. — Нора подняла рюмку. — Спустим псов войны!

Она закинула ногу на ногу, увидела, как дрогнуло его лицо, и поняла, что короткое и алое с черным она сегодня надела не напрасно.

После кафе они сели в такси и поехали к Норе — Бессонов хотел взглянуть на ее детские фотографии.

Когда в прихожей он присел на корточки, чтобы снять с ее ноги туфельку, его запах окутал Нору едким облаком, голова у нее пошла кругом, и она вдруг стиснула колени — по бедрам потекло, оттолкнула Бессонова, стала срывать с себя одежду, он подхватил ее на руки, ударился плечом о косяк, в гостиной опрокинул стул, ногой открыл дверь в спальню, бережно опустил ее на кровать, склонился над нею, и тут она укусила его — укусила с наслаждением, до крови...

Все смешалось в ее жизни: животная тяга к Бессонову, его бесстыжая книга, Кропоткин и эта толстуха Рита, несчастная Нюша, корчившаяся от ненависти ко всему

миру, новый проект Уманского, в котором Норе отводилась, конечно же, главная роль, да еще ужасная смерть старика Полонского...

Полонский умер в середине лета, когда театральная Москва опустела, разъехалась в отпуска или на гастроли. Жил он одиноко, и его смерть долго никто не замечал, пока соседи не вызвали милицию: запах из квартиры стал невыносим.

На похоронах рассказывали, что старика нашли на полу. Он лежал в луже засохшей гнилостной жидкости, голый, зеленый, сдувшийся, как проколотый воздушный шарик, тело его было покрыто венозной сетью грязно-красного цвета, и когда его попытались поднять, на паркете остались куски плоти...

В кафе, где были устроены поминки, у Норы случился нервный срыв. Она вдруг разрыдалась, никак не могла остановиться. Бессонов отвел ее в какое-то служебное помещение, принес коньяк, она выпила, они занялись любовью на полу среди ведер и рулонов ковровина, потом она снова разрыдалась. Бессонов вызвал такси, Нора захлопнула дверцу перед его носом и уехала за город.

Кропоткин нашел ее в кухне, где она плакала, допивая бутылку коньяка, взял на руки, отнес в спальню, лег рядом, она прижалась к его волосатому животу и заснула.

Утром она встала раньше всех, провела час в тренажерном зале, выпила литр апельсинового сока с лимоном, приняла ледяной душ, приготовила завтрак, уволила Риту — Кропоткин и Нюша промолчали — и занялась Маргаритой Готье.

Когда Уманский предложил ей главную роль в «Даме с камелиями», она растерялась. Роль Маргариты Готье, безусловно, входила в виш-лист любой актрисы наряду с Джульеттой, Федрой и Ниной Заречной. Но Джульетту ей уже было не сыграть, а Федру она провалила, что бы там ни говорили Бессонов и Семеновский.

Уманский был настойчив.

Они вместе посмотрели «Даму с камелиями» Джорджа Кьюкора с Гретой Гарбо, итальянскую постановку с Франческой Нери и байопик о Мари Дюплесси, прототипе Маргариты Готье, с Изабель Юппер в главной роли.

Уманский вспомнил, как Кьюкор и его сценаристы бились над коллизией, связанной с ролью падшей женщины в высшем обществе:

— В тридцатых годах эта тема была весьма щекотливой.

Нора расхохоталась и рассказала о своей свадьбе в Большом Кремлевском дворце, на которой каждый второй министр, диссидент и модный философ разгуливал под ручку с патентованной шлюхой.

Уманский сказал, что в роли Армана Дюваля он видит Никиту Журавского:

— Простоват до глупости, но искретен и чертовски красив.

Нора считала, что роль отца Армана важна не меньше, и они поспорили, кто сыграет ее лучше — Артем Кириленко или Безбородов-старший.

Она и не заметила, как втянулась в эту игру.

Премьеру назначили на осень, ранней весной начались репетиции.

Смерть Полонского, отчуждение Кропоткина и Нюши, животные случки с Бессоновым — теперь ничто не могло помешать ее успеху. Не должно и не могло.

Но сначала состоялась премьера книги Бессонова.

Презентацию решили провести в стрип-клубе «Феникс», чтобы заинтриговать журналистов.

Нора проследила за тем, чтобы Бессонов был правильно одет: денег на любовника она не жалела. Ему нравились красивые вещи, и вообще, он часто говорил ей, что алчность — его личный смертный грех, обожаемый грех.

Зал был полон. За столиком у сцены сидел с молодой любовницей постаревший Семеновский, скрывавший морщинистую шею при помощи искусно связанного шелкового кашне. За соседним столиком Нора устроила Кропоткина с Нюшей.

Вел презентацию Уманский, не скрывавший впечатлений от книги, которая поразила его своей откровенностью на грани эпатажа. Никита Журавский и Алиса Алиева читали отрывки из биографии. Журналисты наперебой задавали вопросы — чаще всего о мужчинах Норы, о ее сексуальной ориентации и карьере звезды стриптиза.

Бессонов говорил много, возбужденно, иногда пережимая, переигрывая: ему очень уж хотелось понравиться публике. Рассказывая о детстве и юности Норы, он несколько раз назвал ее «наивной дурочкой» и «провинциальной простушкой», неприятно пощелкивая при

этом пальцами. Нора видела, как при этом менялось лицо Кропоткина, а дочь попыталась уйти — ее удержала Лиза Феникс.

Наконец пресс-конференция закончилась, и Уманский объявил, что сейчас всех ожидает сюрприз.

В зале погас свет, вступила музыка, вспыхнули софиты, и на сцене появилась Нора Крамер — с распущенными волосами, в сверкающем лифчике, в трусиках, украшенных блестками, в туфлях на высоком тонком каблуке. Она послала в зал воздушный поцелуй, взялась рукой за шест, улыбнулась — и началось представление.

Никогда еще она так не танцевала, никогда еще не чувствовала себя такой свободной, легкой, бездумной, прекрасной, великолепной. Она взлетала по шесту, вращалась, изгибаясь и хохоча, и зал кричал от восторга и аплодировал стоя, и когда Нора увидела радостное, заплаканное и растерянное лицо дочери, хлопавшей в ладоши, то поняла, что ради этих слез она готова умереть — вот сейчас, здесь, на этой дурацкой сцене, под звуки этой дурацкой музыки, бессмертной, как бессмертно само это дурацкое искусство, и расплакалась, кланяясь и посылая Нюше воздушные поцелуи...

Быстро переодевшись, она вернулась в зал. Ее окружили, ее поздравляли, ее целовали, ею восхищались. Она смеялась, подставляя щеку чьим-то губам, раздавала автографы, потом взяла Нюшу за руку — дочь сжала ее пальцы, снова вызвав слезы на глазах, и тут к ней подошла Лиза Феникс, шепнула: «Иди в туалет, да потарапливайся же, я пока с Нюшей побуду».

В туалете было накурено, душно, возбужденные мужчины толкались, пытаясь пробиться внутрь, кто-то громко ругался, кто-то смеялся.

Нора проскользнула между разгоряченными телами, вошла и увидела окровавленного Бессонова, лежавшего в углу, и Кропоткина, которого двое мужчин держали за руки. Огромный, в разорванной на груди рубашке, он рычал, пытаясь вырваться, а когда увидел Нору, одним движением отбросил мужчин и уставился на жену — глаза его были налиты кровью.

Ее по-прежнему была дрожь, ей по-прежнему было весело, и она не испугалась его грозного взгляда. Похлопала себя по бедру и сказала, едва сдерживая смех:

— Кыс-кыс-кыс... ну иди сюда, дурачок, иди, не бойся...

Взяла Кропоткина за руку, и он покорно пошел за нею, слегка покачиваясь и урча, и толпа раздалась, пропуская их к лимузину, в котором уже сидела Нюша. Лиза Феникс — стройная, могучая, невозмутимая — с улыбкой открыла дверь машины и проговорила низким вибрирующим голосом: «Сегодня я б тебя трахнула как никогда, подруга». Нора поцеловала ее в щеку, села в середину, между дочерью и мужем, взяла обоих за руки, сказала: «Трогай!» и рассмеялась — она была счастлива как никогда...

Премьера «Дамы с камелиями» прошла с успехом.

Критик Семеновский писал о «триумфе» и с наслаждением смаковал сцены, в которых «проявился весь талант Норы Крамер, актрисы, несомненно, тонкой и глу-

бокой», он проследил в своей статье за тем, как менялись интонации, пластика Маргариты Готье, привыкшей к лицемерию, к продажной любви и вдруг столкнувшейся с истинным и искренним чувством, как «любовь стала занимать в ее душе все больше места, пока не захватила целиком», как великолепна была Нора в сцене объяснения с отцом Армана Дюваля и как трогательна в финальных эпизодах, «скрытая страстность которых электризует зал до дрожи и слез».

«Это настоящий театр, — писал в заключение Семеновский. — Балаган, призванный вызывать у зрителей простые и сильные чувства, смех или слезы, страх или радость, и Нора Крамер доказала, что владеет этим великим ремеслом в совершенстве».

Статьи, телерепортажи, фотосессии, приглашения на встречи, интервью, цветы, цветы, цветы...

В море цветов, однако, однажды обнаружился погребальный венок с черными лентами и надписью «Привет из прошлого, стерва», но как Нора ни силилась, сколько ни перебирала лица и имена, так и не вспомнила никого, кто мог бы затаить на нее такую злобу, чтобы напомнить о себе через много лет: их было слишком много, этих людей.

Теперь после спектаклей она все чаще возвращалась домой, к Кропоткину и Нюше, а Бессонов нашел новую жертву.

Это был Борис Сергеев, когда-то — скромный сотрудник НИИ, энергичный публицист, вознесенный перестройкой на вершину демократического движения,

в августе 1991-го занявший видный пост в правительстве Ельцина, а потом поссорившийся с окружением президента и бежавший за границу. Помыкавшись по Европе, он обосновался в Чехии, преуспел в торговле замороженными овощами, а после отставки Ельцина возвратился в Россию и попытался вернуться в политику, но неудачно. Человек деятельный и состоятельный, Сергеев взялся за мемуары, но и тут его постигло фиаско. Растерявшись перед материалом, он через общих знакомых передал свои записки Бессонову, который решил сделать Бориса Сергеева героем своей новой книги.

— Когда читаешь его записи о событиях августа девяносто первого или октября девяносто третьего, — рассказывал Бессонов Норе, — сразу чувствуешь личность: стиль упругий, написано сжато, ясно, точно. Электрическая проза! Но как только речь заходит о формировании этой личности, о детстве и юности, о негероических периодах жизни, тотчас все расплывается, превращается в кашу. И сразу становится видна его ограниченность, даже некое убожество, что ли. Эти жалобы на обстоятельства, которые помешали всем этим людям остаться у власти и привести Россию в капиталистический рай... напоминает мемуары немецких генералов, которым морозы и бездорожье помешали выиграть войну... В общем, плохому танцору яйца мешают. Они — люди одноразовые, герои мгновения, разрушители, на большее они не способны. Война, бунт, баррикады — их стихия, мать родна. Современные Троцкие, знаешь ли...

Нора умело делала вид, что ей это интересно, но с трудом сдерживала зевету.

Она купила Бессонову квартиру, машину, небольшой уютный загородный дом, по-прежнему не жалела на него денег, которые он с большим энтузиазмом отработывал в постели, но все чаще скучала по своим зверятам, по мужу и дочери.

Вечера, свободные от спектаклей, она проводила с Нюшей за чтением вслух. Нора читала Шекспира или Грибоедова по памяти, а Нюша по книге Грейвса о греческой мифологии, требуя на каждом шагу объяснений. Это было увлекательное занятие — вчитываться в текст, пытаясь разобраться в хитросплетениях биографий всех этих Агамемнонов, Клитемнестр, Эгисфов и Кассандр...

Они сидели на диване, читали, грызли орехи и дразнили Кропоткина — Нюша стала называть его Пигмалионом, а себя Галатеей. Ревность ее к матери поослабла, и вскоре Нора вернулась к разговору об операции, которая избавила бы Нюшу от уродства. Она накупила дочери платьев, чулок, туфель, и, прогнав Кропоткина с глаз долой, они занимались лепкой образа будущей Нюши — стройной красавицы, привлекательной девушки, секс-бомбы.

В начале зимы они встретились с доктором Шицем, выдающимся остеохирургом, который после долгих колебаний согласился оперировать Нюшу.

Операция прошла успешно. Кропоткин увез Нюшу в Швейцарию, где у него открывалась выставка. Два месяца

девочка провела в специализированном санатории под присмотром врачей. А потом еще месяц они прожили в Арле. В Москву вернулись в середине апреля.

Увидев дочь в аэропорту, Нора вздохнула: Ньюша стала еще больше походить на покойного отца — светлыми волосами, высоким ростом, глазами цвета изменчивого моря, правильными чертами лица. От матери — ничего. Стройная, загорелая, в туфлях на каблуках, в короткой шелковой юбочке, легко взлетающей при каждом шаге над красивыми коленками, она казалась старше своих шестнадцати, а полная грудь, широкие бедра и насмешливо-снихождительное выражение лица и вовсе делали ее искусенной женщиной. При ходьбе она как будто пританцовывала, ловко скрывая и без того почти незаметную хромоту.

На следующий день Ньюша приехала в театр, чтобы посмотреть на мать, показаться, и все, кто знал ее прежней, в голос восхищались ее красотой и непринужденностью.

Кумир московских женщин Никита Журавский, одетый к выходу на сцену, поцеловал ей руку, уронив цилиндр и монокль.

Она записалась в школу танцев и в бассейн.

Раз в неделю Кропоткин возил ее в школу верховой езды.

В театральном училище, куда Нору пригласили на встречу со студентами, все таращились на ее дочь.

На Тверской молодой мужчина подарил Ньюше розу, и несколько минут они болтали по-французски.

На семейном совете было решено, что осенью Нюша пойдет в обычную школу, чтобы «обновить навыки общения с человечеством», как выразился Кропоткин.

Нора была занята в спектаклях, Уманский подумывал о постановке «Вишневого сада», в которой Норе предназначалась роль Раневской, а кроме того, она возобновила отношения с Бессоновым, совсем было угасшие.

Ей позарез нужно было с кем-то поговорить о своих страхах, о Кропоткине и Нюше, о том неуловимом, мерцающем и пугающем, о тех атмосферных изменениях, которые превращали ее жизнь в сплошную чесотку, и Бессонов подходил на роль слушателя лучше, чем глуповатая Молли или слепо влюбленная в нее Лиза Феникс.

— Думаешь, он ее трахает? — Бессонов ухмыльнулся, неприятно щелкнув пальцами. — А что, с этого мерзавца станется...

— До сих пор не можешь простить ему мордобоя в «Фениксе»?

— А почему я должен прощать?

— Потому что я прошу.

Он промолчал.

— Не думаю, — сказала она, водя пальцем по его гладкой мощной груди, — что они зашли так далеко...

— Может, и не зашли. Но есть во всем этом что-то нездоровое...

— О каком здоровье ты говоришь? Он же художник!

— А Нюша твоя — дурочка. Не дура, а дурочка. И это очень опасно...

— Когда она была хроменькой, я за нее боялась по настоящему: ведь такая девочка — легкая добыча, сам понимаешь. Но сейчас-то ей не на что злиться, незачем мстить — мне или там миру... Замуж ее, что ли, отдать? Родит ребенка, успокоится... только бы в актрисы не подалась...

Бессонов со вздохом поцеловал ее в душистое плечо.

Теперь ей снова было хорошо с Бессоновым, который по-детски радовался подаркам и доводил ее в постели до изнеможения, хотя она и понимала, что трусливо бежит от тех проблем, которые рано или поздно ей придется решать, чтобы они не расплющили ее и Нюшу.

В конце мая праздновали день рождения Нюши, и Кропоткин предложил отметить это событие необычным образом — он хотел запечатлеть Нору и Нюшу ню. Мать и дочь переглянулись, кивнули.

От шампанского и ледяной усмешки дочери у Норы закружилась голова, как перед выходом на сцену. Она была готова к чему угодно, но когда увидела обнаженную Нюшу, поняла, что битва будет нелегкой. Впрочем, подумала она, о какой битве речь? Мы только позируем, подумала она, только позируем, хотя нет, не ври себе, мы не только позируем...

Кропоткин выкатил на свободное место широкий диван, накидал на него подушек, включил дополнительный свет и встал у мольберта. Нора забралась на диван, села, подобрав ноги под себя и опершись на руку, а Нюша пристроилась рядом, приобняв мать и чуть склонив голову к ее плечу.

Нору покорила равнодушная деловитость дочери, которая легко скинула с себя халат и, не обращая никакого внимания на Кропоткина, залезла на диван, словно делала это каждый день. Если выяснится, подумала она, что он с ней спит, я его убью. Ножом? Топором? Ядом? Бейсбольной битой? Все сгодится. От этих мыслей голова у нее снова пошла кругом. Нора трянула головой и улыбнулась. Вскоре успокоилась, оцепенела, вдыхая приятный запах, исходивший от тела Ньюши.

Они позировали до поздней ночи, делая иногда перерывы.

Когда пили чай, Нора надевала халат, Ньюша отказывалась: «Мне тепло».

Кропоткин глотал коньяк из горлышка, рычал, грозил им кулаком, Нора снимала халат, и они снова занимали места на диване.

Нора вдруг вспомнила, как впервые разделась перед мужчиной — перед Мишей, первым мужем, который потребовал, чтобы она сняла с себя все, и включил свет, и она сняла с себя все, а он стиснул пальцами ее соски и, весь задрожав, спросил, был ли у нее кто-нибудь до него, и она сказала: «Нет», но он, похоже, не поверил, обошел ее кругом, приюхиваясь и что-то высматривая на ее теле, словно искал знак, подтверждающий ее девственность, а потом не выдержал и навалился, спустив брюки до колен, а наутро был возбужден, пьян и все порывался залезть на крышу и вывести на телевизионной антенне простыню с красным пятном посередине, но родители кое-как его отговорили...

Она почувствовала, как по телу Ньюши пробежала дрожь, и скосила глаза на дочь — та не понимала, что происходит, почему она вдруг задрожала, но тут Нора по какой-то прихоти памяти стала думать о Бессонове, и Ньюша вздохнула с облегчением...

В Арле она впервые увидела серию небольших картин Кропоткина под общим названием «Клэр», посвященную его бывшей жене. Он писал ее, словно хотел превзойти Шиле и Курбе: Клэр в чулках с разведенными в стороны ногами, вагина Клэр крупным планом, руки Клэр и ее клитор, Клэр, снимающая чулки, Клэр, ласкающая свои груди, Клэр и дилдо, Клэр, дилдо и девушка...

Кропоткин тогда поймал ее взгляд и сказал с улыбкой: — Ты первая женщина, которую я люблю целиком, всю.

Первое ее ню он написал еще в Москве. Она позировала ему почти весь день и очень удивилась, увидев результат: Кропоткин изобразил ее пятью-шестью резкими, размашисто прочерченными красными линиями, которые образовывали женский силуэт и чувственный рот — на рот он, кажется, потратил всю остальную краску. Он взял ее за руку и заставил сделать шаг назад, и тут она вдруг поняла, что картина удалась, что этот иероглиф исчерпывает ее со всей полнотой, на какую только способен знак...

Нора снова очнулась, почувствовав тревогу, исходившую от дочери. Но Ньюша только взглянула на мать сердито и отвела глаза. Она явно не понимала, что за волны

накатывают на нее, заставляя то дрожать от холода, то млесть от нежности...

— Все! — заорал вдруг Кропоткин, отшвыривая кисти. — Хватит! Все по домам, плетена мать!..

Он был пьян в лоск, как настоящий маляр, и остался ночевать в мастерской.

На следующий день, едва почистив зубы, Нора спустилась в мастерскую, чтобы взглянуть на картину. Кропоткин не любил показывать незавершенные работы, поэтому она решила сделать это пораньше, пока он спит. Но он не спал. Сидел с мрачным лицом на складном стульчике перед мольбертом и потягивал коньяк из горлышка.

— Ближе не подходи, — сказал он не оборачиваясь.

Она села на биотуалет, который Кропоткин держал здесь, чтобы не отрываться от работы, когда она захватывала его целиком. Отсюда, шагов с восьми-десяти, разглядеть картину было трудно, да вдобавок она наполовину была закрыта какой-то тряпкой, свисавшей с подрамника.

— Не нравится? — спросила Нора.

— Не знаю, — сказал он. — Не могу решить.

— Что ж, решать тебе.

Он обернулся.

— Ты о чем?

— О картине. И вообще.

— Ты же знаешь, что это у меня плохо получается.

Всю жизнь так... между запором и поносом... садись ближе, только не смотри на нее, ладно?

Она взяла складной стульчик, села рядом, глотнула из его бутылки.

— Я запуталась, — сказала она. — И мне нелегко. Тебе, кажется, тоже...

Он промолчал.

— Слишком много вдруг стало пустоты, — продолжала она. — Она и раньше была, это нормально, но в последнее время ее стало слишком много...

— Говорят, это напоминает роды. — Он кивнул на картину. — Но это не роды. Настоящие роды у женщин, они заполняют пустоту ребенком, это — по-настоящему... а это — фикция... мне всегда хотелось растить картину, как растят ребенка... кормить, купать, гулять с ней, радоваться, когда скажет первое слово... чтобы она сама росла, а я только помогал бы... — Вздыхнул. — Странная мысль... а Клэр и вовсе не хотела детей...

— Ты сейчас о картине или о ребенке?

Он пожал плечами.

— Мы никогда с тобой об этом не говорили, — растерянно сказала Нора. — И я об этом не задумывалась...

— Еще не поздно, — сказал он. — Какие наши годы...

Нора взяла его за руку, почувствовала, что они тут не одни, обернулась.

Это была Нюша.

— Ты здесь давно? — спросила Нора.

— Вы хотите завести ребенка? — спросила Нюша, глядя на Кропоткина, который сидел с опущенной головой. — Хотите или нет?

— Ты об этом первая узнаешь, — сказала Нора. — Что так рано-то?

Нюша резко повернулась и ушла.

— Мне надо поспать, — проговорил Кропоткин, еле ворочая языком. — Потом поговорим, ладно? Спать хочу — жуть...

Он ушел, забрался в темный угол, что-то там затрещало, послышалось бульканье, потом все стихло.

Нора поднялась в кухню, чтобы сварить кофе.

Прислугу она отпустила до понедельника, в доме было тихо. Кропоткин спал внизу, в мастерской, завернувшись в какой-нибудь старый холст, Нюша, наверное, в своей комнате, но ни о муже, ни о дочери она сейчас не думала. Если она правильно поняла пьяненького Кропоткина, он хотел ребенка. Хотя, может, она не так его поняла. Он же говорил о воспитании картины. Но потом заговорил о ребенке. Еще не поздно, сказал он, какие наши годы, сказал он. Так говорят о настоящих детях, а не о картинах. Или все же о картинах?

Нора выпила две чашки крепкого кофе, выкурила четыре сигареты. Она была возбуждена. Кропоткин никогда не заводил речь о ребенке. Да и ей эта мысль никогда в голову не приходила. А может, все дело в этом? Может, им нужен их общий, собственный ребенок, чтобы все изменилось. Нюша для него, как ни крути, чужая, не своя кровь, Галатя, искушение, соблазн. Собственный ребенок — это совсем другое. Она никак не могла свыкнуться с этой мыслью. Всерьез ли говорил Кропоткин? Готов ли он к продолжению этого разговора?

Нора была растеряна. Выпила третью чашку кофе, выкурила еще две сигареты, и только тогда ее мысли вернулись к Нюше, которая, похоже, подслушала разговор

в мастерской. Она, конечно, по-прежнему влюблена в Кропоткина, и его слова о ребенке стали для нее полной неожиданностью. Она растеряна и разгневана. Она считала себя хозяйкой, повелительницей этого мужчины, и вдруг ей напомнили о том, что она не центр мира. Что ж, подумала Нора, ей придется вернуться на землю, занять свое место и жить с этим, такова жизнь...

Она прислушалась — в доме по-прежнему было тихо. Взглянула на часы — Нюше пора вставать, а ей — готовить завтрак.

— Нюша! — крикнула она. — Нюша!..

Тишина.

Нора постучала в дверь комнаты — дочь не откликнулась.

Толкнула дверь, сразу увидела Нюшу, бросилась, поскользнулась, схватилась за ноги дочери, отпустила, взобралась на стул, слезла, схватила слепо со стола что-то железное, попыталась перерезать веревку, но это оказалась стальная линейка, отшвырнула ее, обхватила Нюшу за пояс, стараясь не смотреть вверх, закричала, завывала, завывала...

Потом она затихла, потом выпила четвертую чашку кофе, потом выкурила еще две сигареты и занялась делами. Сознание иногда мутилось, но Нора умела держать себя в руках. Она пережила арест Ксавье, смерть сына, самоубийство первого мужа, перерезавшего горло у нее на глазах и забрызгавшего ее кровью, тоску, голод и одиночество, драки в общей гримерке стрип-клуба, когда девушки били друг дружку ногами и маникюрными

ножницами, смерть Генриха, убийство Дона, кончину милого старика Полонского, измены мужа — все это она пережила, переживет и смерть дочери, должна пережить, так уж она устроена...

После того как она подписала все бумаги и тело Ньюши увезли, она приняла душ, тщательно оделась и спустилась в мастерскую. Кропоткина там не было. Его нигде не было. Он исчез. Она не стала тратить время на осмысление этого факта. Надо было звонить в ритуальное агенство, договариваться о похоронах, поминках.

Выбрала агенство «Черный лебедь», позвонила. Положила перед собой лист бумаги и стала выписывать имена тех, кого следовало пригласить на похороны, потом все зачеркнула, скомкала список и выбросила. У Ньюши не было друзей, и никому, кроме Нору и Кропоткина, до нее не было дела. Значит, никаких посторонних. И никакого оркестра.

Вдруг позвонила Молли — она только что прилетела из Хорватии, хотела встретиться, как обычно, чтобы погулять по Царицынскому парку, который, говорят, сейчас не узнать, покормить уток, выпить из фляжки, пообедать в каком-нибудь ресторанчике в центре, поболтать...

— Приезжай, — сухо сказала Нора. — Ньюша умерла.

Молли нашла ее в гостинной.

Перед Норой стояла непочатая бутылка коньяка, в левой руке она держала чистую пепельницу, в правой — незажженную сигарету.

Молли вздохнула, щелкнула зажигалкой.

Первую бутылку коньяка они выпили за час. Выпили молча. Вторую открыли во дворе, где росла старая шелковица, под которой стоял стол. Было жарко, и они разделались до трусов и лифчиков, как в старые времена. Молли стала вспоминать, как они дрались с сутенерами, которые хотели взять их «под себя», и как клиент пытался расплатиться с ними ящиком спирта, а они отказались, и он стал стрелять в них из автомата Калашникова — еле ноги унесли...

Потом они уснули на траве, а когда проснулись, Нора позвонила Кропоткину — он не отвечал, и они откупили следующую бутылку. Звонили из ритуального агентства, звонила Лиза Феникс, звонили из театра, звонил Бессонов, потом кто-то дважды ошибся номером, потом приехала девушка из агентства, и Нора подписала доверенность, чтобы «Черный лебедь» мог получить справки, необходимые для похорон, потом они съели по бутерброду и снова выпили...

На кладбище Нора, Молли и Лиза Феникс были в черных шляпах с вуалью, Бессонов стоял в сторонке, прижимая к груди какую-то папку. Кропоткин на похоронах не появился и не отвечал на звонки. Люди из агентства у соседней могилы громко вспоминали, сколько раньше стоили похороны в долларах и дойчмарках, путались, вздыхали...

После поминок — они впятером зашли в кафе, молча выпили по рюмке водки — Бессонов отвез ее домой, за город, и они сразу легли спать — Бессонов в гостиной.

Вечером он приготовил ужин, снова помянули Ньюшу, после чего Бессонов молча положил перед Норой папку.

В ней были документы — справка о смерти, медицинское заключение, что-то еще. Нора подняла голову, вопросительно посмотрела на Бессонова.

— Почитай, — сказал он. — Рано или поздно придется.

— Что придется?

— Почитай медицинскую справку. Лучше это сделать сейчас.

Пожав плечами, она пробежала глазами справку, замерла, закрыла глаза.

Бессонов наполнил ее рюмку.

Нора залпом выпила.

— Вот почему он исчез, — сказала она тихо. — Я подозревала что угодно, но не это. — Запнулась. — Вот почему она так растерялась...

Бессонов молчал.

— Мы разговаривали о детях, и она решила, что мы хотим завести ребенка. Хотел он. А у нее уже был ребенок от него... вот она и... а я-то... мы ведь на самом деле ничего... Боже, Митя, но почему же он спрятался? Он же где-то здесь...

Она схватила со стола нож и бросилась в мастерскую, Бессонов едва успевал за ней.

— Нора! — крикнул он. — Да Нора же!

Нора включила в мастерской свет.

— Ты туда! — приказала она. — А я здесь.

Они перевернули мастерскую и дом вверх дном, но Кропоткина нигде не было. Потом обыскали сад, флигель, Нора стала ломиться в сарай, где хранились садовые

инструменты: ей нужен был топор. Топор. И сеть. Она набросит на него сеть, а Бессонов ударит обоюдоострым мечом — ударит дважды. Агамемнон упадет в бассейн, который до краев наполнится его черной кровью, а потом Нора отрубит ему топором голову и не станет закрывать рот и глаза на отрубленной голове, лишь оботрет его волосами брызнувшую на ее одежду кровь, а потом бросит голову в огонь, чтоб выкипели его глаза и мерзкий мозг, в огонь, в огонь...

Бессонову с трудом удалось скрутить ее, отнести в дом и уложить спать.

Нора заснула на спине с открытыми глазами.

Бессонов боялся, что она утонет в отчаянии и коньяке, но уже к обеду следующего дня Нора пришла в себя, сварила кофе покрепче и сказала, что хочет наказать Кропоткина. Убить его. Уничтожить.

— Да брось ты эти страсти-мордасти! — сказал Бессонов. — Плюнь и забудь, даже не думай об этом — испортишь свою карму. Давай лучше уедем. Друзья предлагают купить домик в Таррагоне... или в Хорватии... можно и в Греции — на каком-нибудь острове, на Крите или на Корфу... теплое море, хорошее вино, ты да я... Надоело здесь жить — слов нет. Тысячу лет все ждем и ждем лучшей жизни, строим да строим, и вдруг то война, то революция, то еще какая-нибудь дрянь... Хочется пожить на готовом — сколько той жизни осталось! наших денег хватит...

— Ты, кажется, забыл, что я актриса, — сказала Нора. — Митя, я уже кое-чего добилась, а ждет меня ве-

ликое будущее, я это точно знаю, но ждет оно меня здесь, а не на Крите! Я столько всего перенесла ради этого будущего, Митя... не могу я все бросить, не могу...

— Нора, — сказал он, — идеальных убийств не бывает...

— Хорошо, — сказала Нора, внезапно успокоившись. — Выслушай меня, Митя, и хорошенько подумай. Здесь, только в этом доме, хранится картин на миллионы. Миллионы долларов, Митя! Плюс сам дом, плюс московская квартира... да много чего еще... скульптуры, эскизы... наследие, в общем... Я хочу не только его смерти — убить его мало — я хочу, чтобы все это стало моим. Нашим. Причем на законных основаниях. У него ведь никого нет — ни родителей, ни братьев и сестер, вообще никого, а бывшая его жена счастлива с каким-то австралийцем... да и детей у них не было... Я единственная наследница. Стану вдовой, через несколько месяцев вступлю в права наследства, и все это станет моим. А потом я могу делать с этим что захочу. Захочу — продам. Здесь есть три или четыре картины, которые на аукционах стоят не меньше миллиона. Каждая, Митя! Долларов, Митя! Все это станет нашим. — Вдруг улыбнулась. — Разве ты не хочешь отомстить человеку, который набил тебе морду? — Привстала, глядя ему в глаза. — Ты со мной, Митя? Ты мне поможешь? Мы вместе? Ну же, не мямли, Митя! Только прямо скажи — да или нет. Если нет, я пойму. Но тогда мы расстанемся. Навсегда, Митя. Если да, мы сделаем это и проживем долго и счастливо, ты и я. Только не говори мне о муках совести и призраках убитых — я слишком

хорошая актриса, чтобы во все это верить. Так ты со мной, Митя, или нет?

Бессонов рассмеялся.

— Ты замечательная актриса, Нора, — сказал он, — но это не театр, это жизнь. В жизни из тебя леди Макбет никудышная, уж прости. Заскучала по девяностым? Пиф-паф, любовь, кровь, морковь, в бровь? Не думаю. Тогда в чем дело? Тебе хочется его денег? Но у тебя своих — куры не клюют. Или ты так его любишь, что готова убить? Любишь? Нет? Да ты сама не знаешь, что произошло на самом деле и чего на самом деле хочешь, поэтому, как сказал бы твой Станиславский, не верю я во все эти ваши страсти...

Нора молчала.

— Ты подумай, Нора, только подумай! Ну хорошо... Чем ты хочешь его убить? Мечом? Из пистолета? У тебя, кажется, нет пистолета, значит, его придется добывать, а человек, который достанет пистолет, может проболтаться. Хочешь убить его здесь, да так, чтобы тебя ни в чем не заподозрили? Или хочешь спрятать тело? Вывезти или закопать? Детали, Нора, не люди убивают, а детали! Он слишком известный человек, полиция встанет на дыбы, но что-нибудь да найдет... Боже, неужели я это говорю вслух? Поверить не могу, что я это говорю...

Она молчала.

— Ну послушай... — Он взял ее за руку. — Только послушай, Нора... ну давай с другого конца зайдем... Человеку, пользующемуся электрическим утюгом, трудно поверить во все эти чудеса... в хождение по водам,

превращение воды в вино, воскрешение мертвых... По той же самой причине мы не понимаем всех этих Эдипов, Электр, Агамемнонов, по той же самой причине так трудно сегодня ставить Эсхила или Софокла, по той же самой, Нора, и ты это знаешь: мы не верим в этих богов, в судьбу, рок, фатум, в мистику, в неизбежное наказание, в загробное воздаяние... а эти боги, этот рок — такие же действующие лица пьесы, как все эти цари и герои... мы не верим во все это так, как тогда люди верили, потому и не можем проникнуться тем ужасом, который переживает царь Эдип... или Орест какой-нибудь... вместо ужаса в наших спектаклях — механика головного мозга, какая-нибудь химера вроде совести, в которую мы тоже не верим, и ты не веришь, вместо всего этого ужаса у нас Сартр какой-нибудь, не к ночи будь помянут... — Бессонов перевел дух. — Люди взрослеют, Нора. Нам уже не нужно на каждом шагу хвататься за меч или за пистолет — есть суд, прокуратура, полиция, пресса, очень неплохие гигиенические средства, а мы ведь сегодня ни во что, кроме гигиены, и не верим... ты можешь представить сегодняшнего человека, который согласился бы быть распятым рядом с Христом ради спасения души? Сама эта мысль вызывает оторопь, правда? У нас не осталось ни трагедии, ни даже комедии... Господи, да почему я должен тебе все это говорить! — Он перевел дух. — Если ты так ненавидишь его, если так хочешь отомстить, разведись с ним, черт возьми, отсуди у него половину имущества, а потом играй себе в театре, занимайся любовью... живи! Только, пожалуйста, Нора, не делай глупостей!

Неужели тебе так хочется в тюремной камере драться с лесбиянками из-за жопы какой-нибудь хорошенькой зечки? Я привык к тебе, Нора... иногда я даже думаю, что люблю тебя... и кто знает, как оно сложится... может, мы поженимся, ребенка заведем... да чем черт не шутит... — Помолчал. — Честное слово, мне тебя будет не хватать...

— Поезжай домой, Митя, — сказала Нора, мягко отнимая у него руку. — Что-то я устала...

Он хотел было сказать что-то еще, но запнулся, встретив ее взгляд, и ушел.

Где-то зазвонил телефон.

Нора очнулась, попыталась вспомнить, где он может быть. В последние дни она часто оставляла телефон где попало, а потом подолгу искала его. Поставила звук на полную мощность, но это плохо помогало. Иногда убивала уйму времени, чтобы найти трубку. Обнаруживала ее то на столе в кухне, то на полу в гостиной, а однажды в кармане халата, который был на ней. Стала рассеянной. Ей трудно было сосредоточиться на чем-то, подчас для этого приходилось напрягать все силы. Ей хватило сил на разговор с Бессоновым, но когда он ушел, она рухнула в кресло и впала в прострацию. Внезапно все показалось пустым, глупым, бессмысленным. Разговор с Бессоновым, смерть Ньюши, исчезновение Кропоткина, планы мести, мечи и топоры, страсти, лица, вызолоченные кровью, боги, цари и герои — все слилось в однородную мутную массу, в которой беспомощно тонули живые люди, живая Нора...

Телефон не унимался.

Наконец она встала и отправилась на поиски трубки. Заглянула в спальню, постояла на балконе, потом у двери Нюшиной комнаты, посидела в библиотеке, чтобы спокойно выкурить сигарету, прихватила из бара бутылку и спустилась в мастерскую — звонок явно шел оттуда.

Включила свет, сдернула с мольберта мешковину, села на складной стульчик, глотнула из горлышка. Она впервые видела эту работу Кропоткина, для которой позировала в обнимку с Нюшей. Кропоткин написал тревожный фон в своих любимых красных и черных тонах, контрастировавший с покоем и нежностью, которые излучали светящиеся фигуры матери и дочери. Впрочем, покой этот нарушался смещением точки зрения — художник смотрел на женщин как будто сверху, что оптически увеличивало лица и глаза — глаза он явно намеренно чуть-чуть увеличил, придав взглядам сдержанный драматизм, потаенную мятежность. И благодаря этому статичная композиция наполнилась драматизмом, готовностью к взрыву...

Снова зазвонил телефон.

Она повернулась вправо и увидела трубку — та лежала на ящике рядом с палитрой и початой пачкой сигарет. Нора не помнила, чтобы она сюда спускалась в последние дни. Но, впрочем, она много чего не помнила. Не сводя взгляда с картины, вытерла слезы, поднесла телефон к уху.

— Да.

— Элеонора Сергеевна? — спросил мужской голос.

— Да.

— Наконец-то, — сказал мужчина. — С вашим мужем сейчас все в порядке. Операция была тяжелой, длилась четыре с половиной часа, но сейчас Олег Александрович в стабильном состоянии...

— Олег Александрович?

— Простите... — Голос стал растерянным. — Кропоткин Олег Александрович кем вам приходится?

— Мужем... но почему вы...

— Ага, — перебил ее мужчина, — значит, вы ничего не знаете. Его привезли к нам позавчера, он был без сознания. Сначала его подобрала на улице «скорая». Слава богу, он был трезвый и при нем были документы. Пробыли по базе и доставили к нам. Обширный инфаркт миокарда. Оперировал сам Мигунов... слышали, наверное... профессор Иван Дмитриевич Мигунов... два часа назад Олег Александрович пришел в себя...

— Позавчера?

— Что?

— Извините... вчера мы похоронили дочь, его не было на кладбище...

— Соболезную... Вам напомнить наш адрес? Давайте я вам его эсэмэской пришлю...

Нора вызвала такси, приняла душ, схватила зонтик и выбежала во дворе — машина уже ждала у ворот.

До кольцевой автодороги такси домчалось минут за десять, а вот по Москве пришлось тащиться через пробки, поэтому в больницу Нора приехала только к полуночи.

На крыльце ее встретил тот самый врач, с которым она разговаривала по телефону.

— А я вас еще по «Шиксе» помню, — радостно сообщил он. — «А теперь отойдите, Шикса стрелять будет!» — процитировал он. — Нам сюда.

Кропоткин лежал в отдельной палате. Лицо его было до глаз закрыто кислородной маской. От головы и рук тянулись к каким-то аппаратам трубки и провода.

— Говорить он может, — сказал врач, придвигая к кровати стул для Нора, — но сейчас ему лучше помолчать. Если что-нибудь понадобится, я на связи...

И исчез.

Нора опустилась на стул, взяла руку Кропоткина и вздохнула с облегчением.

Кропоткин приоткрыл глаза, пошевелил пальцами.

— Да, — сказала она, вытирая слезы, — хорошо. Попробуем, черт возьми, еще раз. Не уверена, что у нас получится, но — попробуем. Как ты там называл это? Искусство немощи? Ну вот и попробуем это самое искусство немощи... этим я еще никогда не блевала...

Уманский задумал постановку Эсхила, выбрав для этого первую часть «Орестейи» — трагедию «Агамемнон», но решил радикально переосмыслить классический сюжет.

Нора насторожилась, услышав о его замысле: ей приходилось участвовать в спектаклях, где герои Аристофана разъезжали по сцене на велосипедах, выкрикивая «Долой тиранию!», и скакать голышом в роли Офелии,

соблазнявшей принца Датского. Она понимала, что театр — это зрелище, карнавал, медные деньги, но вспоминать об этих ролях не любила.

Замысел Уманского заключался в том, чтобы перенести действие «Агамемнона» в наши дни. Генерал Аристов, циник, шовинист и герой кавказской войны, его жена, изменяющая мужу-бабнику и хаму с его младшим братом, наживающимся на военных поставках и боящимся, что старший брат сдуру разоблачит его, сын Аристова, его любимец, собирающийся признаться, что он гей, «прекрасный трофей» Аристова — девушка-чеченка, которая ненавидит генерала, убившего ее семью, разговоры о судьбах России, о свободе и тирании, страсть, кровь и оптимистический финал: красавица чеченка уходит из объятого огнем дома Аристовых с шофером генерала, гопником, о котором в пьесе говорится: «Хороший пацан, справедливый — убьет, но не обидит».

— Это, наверное, будет смотреться, — неуверенно сказала Нора, выслушав Уманского, — но не многовато ли политики? Мы столько лет кормили зрителя Гамлетами и Нинами Заречными, что он может поперхнуться этой газетой...

— Почитай, — сказал Уманский, выкладывая на стол папку. — Этот Финогенов, мне кажется, многообещающий драматург. И твой поклонник. Хочет с тобой познакомиться. Так что у тебя будет возможность сказать ему все, что ты думаешь об этом... забавный он человек...

переводит Луизу Боган, пьет кофе ведрами и знает наизусть «Россияду» Хераскова... ты знаешь, кто такой Херасков? А он знает...

— Я и про Луизу-то Боган слышу впервые...

Пьеса оказалась и впрямь интересной, энергичной, написанной хорошим языком, хотя Нора по-прежнему ежилась, натываясь на публицистические пассажи.

Впрочем, роль жены генерала Аристовы была написана в традиционном ключе. Женщина, уставшая от мужа, который гоняется за юными теннисистками, в грош не ставя жену, женщина, мечтающая о счастье, но трезво оценивающая своего трусоватого красавца-любовника, она убивает мужа скорее от безысходности, в порыве отчаяния, а не потому, что он может узнать о ее измене. Однако ее отчаяние, казалось Норе, было недостаточно глубоко мотивированным, лишенным того личного, непосредственного, действенного начала, которое так важно в зрелищном театре.

Об этом она и сказала Финогенову, с которым вскоре встретила в кафе на Бронной.

Драматург оказался тощим субъектом с волосами до плеч, с маленьким умным лицом и длинным носом. После каждого глотка кофе он тщательно промокал толстые губы салфеткой и при этом смущенно улыбался Норе.

— Экзистенциальная тоска, — сказал он. — Накопившееся отчаяние — мне казалось, Нора Сергеевна, этого достаточно для объяснения ее поступка...

— Для объяснения — да, — сказала Нора. — Но не для сопереживания. Зритель не думает, а смотрит. Ему тут нужно что-то личное, какая-то деталь, какой-то двигатель... ну, например, сын-гомосексуалист, которого генерал избивает на глазах матери, и ей приходится защищать свое дитя... или, например, дочь...

— Дочь?

— Например, дочь, — повторила Нора. — Девочка для матери — существо особенно близкое. А тут несчастная девочка-инвалидка, сердечная боль матери, увечное дитя, которое любят необычной любовью... может быть, она — падчерица генерала... вернувшись после долгого отсутствия домой, он вдруг обнаруживает, что его падчерица выросла в настоящую красавицу, и пытается завоевать ее, как привык завоевывать всех женщин... такие девочки очень уязвимы, им всегда не хватает любви... и когда становится ясно, что для генерала она всего-навсего игрушка, девочка кончает с собой... вот этого мать не простит ни за что, и этот мотив зритель примет безоговорочно...

Финогенов внимательно посмотрел на Нору.

— Это многое меняет, — сказал он. — Но я подумаю.

Кропоткин вернулся домой незадолго до Нового года.

Он много спал, подолгу сидел в заснеженном саду, одетый в огромную шубу, опираясь подбородком на трость, или в мастерской перед картиной, которую он называл просто — «Мать и дочь».

За ним присматривала новая домоправительница — Калерия Никитична, энергичная западенка из Львова, и

медсестра Зоя, белокурая и голубоглазая, которую Кропоткин сразу окрестил Бестией.

Финогенов сдержал слово — взялся за переделку пьесы, дорабатывая ее и за столом, и в процессе репетиций. Жена генерала Аристова стала чуть умнее и циничнее, а ее дочь-инвалидка, заменившая сына-гея, — на эту роль выбрали красавицу Жанну Бухарину, веселую болтушку, — оживила атмосферу спектакля. По совету психологов, занимающихся реабилитацией детей-инвалидов, Финогенов наделил девочку искривлением позвоночника в сиггитальной плоскости. Уманский считал, что этот образ получился «слишком ярким», и боялся, как бы генерал Аристов и его жена не оказались в тени.

Драматург вошел во вкус — он углубил характер красавицы чеченки, а шофера-гопника сделал старше и наградил любовью к жестоким романсам, которые дебютант Костя Незнамов исполнял с великолепным чувством стиля.

Спектакль постепенно «обрастал мясом», задышал, задвигался, персонажи стали избавляться от резонерства, появился азарт, появилось предчувствие удачи.

Однажды Финогенов после репетиции подошел к Норе и попросил автограф — в руках у него была книга Бессонова.

— После этой книги захотелось пьесу о вас написать, — сказал Финогенов. — Материал такой яркий, богатый...

— Только не называйте ее «Нора Крамер», — сказала она. — А то зрители решат, что речь идет о какой-нибудь раскаявшейся эсэсовке... или о ее овчарке... Кстати, где вы взяли книгу? Она ж давно распродана.

— Автор подарил.

Бессонов напоминал о себе чуть не каждый день. Звонил, слал письма по электронной почте, несколько раз встречал у служебного входа театра после репетиций.

Нора была поражена, когда он подбежал к ней, схватил за руку: Бессонов был каким-то растерзанным, опухшим, растерянным, и водкой от него пахло не так приятно, как раньше, а глаза были мутные, воспаленные.

— Нора, я не ожидал, что так все выйдет, — сказал он. — Кажется, я влюбился в тебя по-настоящему, до помрачения ума. Зря я тогда отказался тебе помогать... но ведь я оказался прав! Вышло-то по-моему! Ты передумала, приняла его — после всего, что произошло... что случилось... Я-то думал, что знаю тебя, а оказалось, что ты темнее, чем я предполагал...

— У каждой красавицы есть дырка в заднице, — сказала Нора, вспомнив любимую поговорку Лизы Феникс. — Ты не рожал — не поймешь. Вынашиваешь что-то, вынашиваешь, а потом вдруг отходят воды, и оно появляется на свет... вот что-то вроде этого и случилось, мне кажется... а ты — не преследуй меня, Митя, не надо. Ты стал чужим не потому, что тогда отказался помочь, а просто стал чужим. Это — все.

Села в машину и уехала, не оглянувшись.

Теперь каждый вечер она возвращалась домой, к мужу.

Они не делали вид, что ничего не произошло, но о том, что произошло, старались не вспоминать вслух.

Она снова была счастлива, прижимаясь в постели к его волосатому животу, и ей было жаль его, огромного и сильного, когда он сидел перед мольбертом, опираясь на трость, и голова его дрожала. В свои шестьдесят он выглядел стариком.

Кропоткин снова стал понемногу выпивать.

Однажды Нора вытащила из кармана его шубы фляжку с коньяком.

— Ты ведь знаешь, что с тобой будет! — в отчаянии закричала она.

— Знаю, — грустно ответил он. — Вернусь на небо.

Нора решила устроить домашнюю выставку Кропоткина — он не стал возражать.

Домоправительница привезла в загородный дом десяток дюжих земляков, которые теперь стоили немногим дороже таджиков, но были сообразительнее, и они под присмотром Норы за три дня превратили захлавленную мастерскую в просторный и светлый выставочный зал, развесили картины и осветительные приборы, расставили столы для фуршета, стулья и диванчики для гостей. Официантов прислала Лиза Феникс, которая тоже была приглашена на выставку.

Народу собралось много.

Кропоткин сидел в кресле с бокалом вина в окружении гостей, принимая поздравления.

— Какая драма! И какой союз! — сказал Семеновский о картине «Мать и дочь». — С какой-то особенной ясностью тут понимаешь, что гармония — далеко не всегда баланс, чаще — конфликт.

Он был без знаменитого своего шелкового кашне, скрывавшего морщинистую шею. Его сопровождала жена — кругленькая дама с тяжелыми старинными серьгами, оттягивавшими мочки. Она мило всем улыбалась, не прислушиваясь к банальностям, которые изрекал супруг.

Утром Нора получила очередное безумное письмо от Бессонова и весь вечер напряженно ждала, что он сюда зайвится. Но обошлось.

Когда она перед сном помогала мужу раздеваться, он вдруг сказал:

— Гулял я как-то в больничном садике с одним старичком-германистом, и он процитировал какого-то немецкого поэта: «Alle Angst ist nur ein Anbeginn», что-то вроде «в страхе лишь начало» или «весь наш страх — это только начало». Теперь я это, кажется, понимаю...

Премьера «Генерала Аристова» — так в конце концов назвали «Агамемнона» Финогенова и Уманского — была назначена на конец февраля.

На генеральной репетиции через сцену пробежала черная кошка, вызвавшая настоящую панику среди актеров. Директор театра провел расследование, но так и не выяснил, откуда взялась эта кошка. Все считали, что это козни дьявола или прокремлевских активистов, грозивших закидать актеров помидорами.

За полчаса до начала спектакля в гримерку Норы пришел Ермилов, который когда-то играл в памятном «Макбете» кавдорского тана, а теперь исполнял роль генерала Аристова. Он принес коньяк, и они от страха эту бутылку прикончили, хотя обычно в таких случаях Нора не позволяла себе больше рюмочки.

Провожая актеров на сцену, Уманский каждого хлопал по плечу и говорил: «Да!», и этот хлопок как будто запускал в них какой-то внутренний механизм.

Ермилов был brutalен, блестящ и хамоват, Нора — иронична, печальна и одинока, Жанна Бухарина — очаровательна и беспомощна, Костя Незнамов — самоуверен и великолепно пошел, Амина Кутаева в роли чеченской девушки — диковата и победительно красива...

Многие в зале повскакивали, когда Нора с пожарным топором в руках бросилась добивать раненого генерала: казалось, эта обезумевшая баба, встрепанная и разъяренная, сейчас изувечит актера.

Зал стоя аплодировал, когда Костя Незнамов покидал сцену в обнимку с Аминой Кутаевой, распевая во всю глотку:

У Ани Карениной горе —
Противен ей муж-дедуган.
А Вронский был молод, и вскоре
У них завертелся роман...

Выходя на поклон, Уманский крепко сжимал руки Норы и Ермилова и повторял одно и то же: «Да! Да! Да!..» Успех был явным и огромным.

Нора быстро переоделась и побежала в буфет, где ее ждал Кропоткин.

Увидев его издали, — он сидел на стуле у стены, широко расставив ноги и опустив подбородок на набалдашник трости, — она на мгновение остановилась, но тотчас взяла себя в руки и двинулась к нему через толпу, кивая знакомым и незнакомым людям, пошла к нему, чтобы сказать, что эта страница жизни перевернута, но когда он увидел ее, поднял голову, и их взгляды встретились, толпа вдруг задвигалась, зашумела, кто-то закричал, Бессонов, взъерошенный, красный, с распухшим лицом, оттолкнул Семеновского и выстрелил в Кропоткина раз, другой, опустил пистолет, повернулся и, увидев Нору, выстрелил, но попал в жену Семеновского, его сбили с ног, прижали к полу, а Нора упала на колени, подползла к Кропоткину, лежавшему на боку, уткнулась в его бедро, закрыла глаза, замерла...

Она молчала, когда ее оттащили от Кропоткина, усадили в кресло, поднесли стакан с водой, молчала, когда полицейские задавали ей вопросы, молчала, когда врач пытался что-то ей втолковать, оттолкнула медсестру, пытавшуюся сделать укол, молчала, когда на плечи накинули шубу, вывели узким коридором из театра и, прикрывая от репортеров руками, куртками и портфелями, усадили в машину, молчала, когда машина медленно двигалась под струями мокрого снега в субботних пробках, пробираясь к МКАД, молчала, когда ей помогли выйти из машины и подняться на крыльцо, молчала, когда Калерия Никитична усадила ее в кресло на балконе, уку-

тала ноги пледом и вышла, прижимая комочек носового платка к губам, молчала, глядя на крупные снежинки, уже не смешанные с дождем, которые медленно падали в тишине, исчезая во тьме, молчала, глядя на верхушки елей вдали, на огромный простор, колыхавшийся и мерцающий далекими огнями, молчала молчанием рыбы, молчанием куста...

Покидая Аркадию

Далеко заходит тот, кто
не знает, куда идти...

Эрнст Юнгер-мл.

— Пуго застрелился! — кричал старик. — Борис Карлович Пуго!

Старик сидел у ворот дачного поселка Новая Аркадия на табуретке, опираясь на клюку, в пожелтевших от времени белых брюках и пиджаке, тряс щеками, покрытыми желтой щетиной, и выкрикивал: «Пуго застрелился! Борис Карлович Пуго!»

Этот старик был крупным чиновником при Сталине, занимал важный пост при Булганине, ушел на пенсию лет тридцать назад, овдовел, целыми днями бродил по аллеям, бормоча что-то себе под нос, или сидел с газетой на лавочке у Розового павильона. Вечером он пил чай на веранде, выкуривал папиросу, надевал полосатую пижаму, шерстяные носки, ложился под одеяло и замирал до утра, всеми забытый, никому не нужный.

Никто годами не слышал от него ни одного слова, и вот вдруг он узнал из газеты о самоубийстве Пуго, и это событие почему-то вывело его из сонного состояния.

Старик принес к проходной табурет и стал выкрикивать одно и то же: «Пуго застрелился! Борис Карлович Пуго!»

Охранники посматривали на него с крыльца, вздыхали, несколько раз просили сменить место, чтобы не мешать людям, которые приехали попрощаться с академиком Савицким, но старик словно не слышал ничего. Он смотрел на людей из-под желтой соломенной шляпы невидящими глазами и выкрикивал: «Пуго застрелился! Борис Карлович Пуго!»

Люди огибали его, здоровались с охранниками и скрывались в аллее, которая вела к обсаженному туями и слями павильону, где был выставлен гроб с телом академика.

Борис кивнул охранникам и двинулся к аллее. Он вырос в этом поселке, охрана знала его в лицо, и он всех тут знал с детства. Знал и этого желтого старика, и всех этих стариков и старух, доживавших свои дни в комфорте и уже давно привыкших к тому, что два-три раза в месяц кого-нибудь из них выставляют на всеобщее обозрение в ритуальном зале, чтобы остальные убедились в том, что они-то еще, черт возьми, живы, и Борис все это знал, чувствовал, потому что он здесь был своим, вырос здесь, впервые влюбился и впервые подрался...

Он был переполнен радостью, понимал, что радость в такой день неуместна, но ничего не мог с собой поделаться. Он радовался тому, что так молод, высок, здоров, силен и обаятелен, что дорого и со вкусом одет, что вырос в прекрасной семье, что у него любящие родители,

отец-дипломат и мать — доктор филологических наук, специалист по Достоевскому, что он с отличием окончил престижный институт, свободно владеет тремя языками, получил направление на работу в Швейцарии, что он мастер спорта по теннису, что у него великолепный автомобиль, подарок родителей, и красавица-невеста, с которой он провел чудесную ночь, их первую ночь любви, что день выдался солнечным, ярким, что вот сейчас он попросается с академиком Савицким, их родственником и соседом по Новой Аркадии, попросается и уедет, а академика сожгут, и все эти величественные старцы, бредущие по аллее к ритуальному залу, будут думать о своих болезнях, сварливых женах, неблагодарных детях, будут думать о близкой смерти, а он, Борис Корсаков, бросится в кожаное кресло своего авто, коснется педали газа и умчится в Москву, где его ждет невеста, вкусный ужин в дорогом ресторане, французский коньяк и сигара, а ночью волшебный секс с любимой женщиной...

Борис пытался унять свою радость, чтобы она не бросалась в глаза. Он горбился, шаркал ногами, брел медленно, опустив голову, он старался думать о случайности и ничтожности человеческого бытия, вспоминая, что писали об этом Хайдеггер и Сартр, которых он читал, разумеется, в подлинниках, но думал о невесте, о ее душистой плоти, и дрожь пробирала его, и он непроизвольно распрямляясь, расправляя плечи и несколько мгновений с недоумением смотрел с высоты своего роста на эти плечи, золотые погоны и черные женские платки вокруг, устремлявшиеся к входу в ритуальный зал и ис-

чезавшие в его полутьме, где звучала траурная музыка и пахло хвоей...

Он пригнулся, входя в зал, подался вбок, на минутку замер, отыскивая глазами вдову, которой следовало выразить соболезнования от имени семьи Корсаковых, и увидел женщину в шляпке с черной вуалью — к ней подходили люди, она кивала, а рядом с нею держался Аркадий, младший сын академика, — и Борис решительно направился туда, к этой женщине, лавируя между стариками и старухами, пристроился за дородным генералом, подошел, склонив голову, увидел узкую белую руку с тонким кольцом на безымянном пальце, выпрямился и оторопел — перед ним стояла незнакомка, а не Вера Даниловна, которая когда-то кормила его пирожками с малиной, и он чуть не спросил, где же Вера Даниловна, но сразу вспомнил, как отец со смехом рассказывал о Маргарите, молоденькой жене академика, старого черта, не пропускавшего ни одной юбки, и спохватился, собрался, чтобы сказать все то, что должен был сказать...

Аркадий кивнул ему, шепнул что-то вдове.

— Борис Андреевич, — сказала она, — муж рассказывал о вас... о вашей семье...

Она была рослой, статной, белокожей, зеленоглазой, с высокой шеей и густыми русыми волосами, собранными в узел и спрятанными под шляпкой.

— Вы ведь, кажется, юрист? — спросила она, глядя на него почти в упор.

Взгляд у нее был темный и холодный.

— Юрист-международник, — сказал Аркадий.

Она кивнула, повернулась к следующему гостю.

Борис поклонился и отошел, смешался с толпой, ошеломленный, возбужденный.

Он был так захвачен собой, своей радостью, что забыл и о смерти Веры Даниловны, и об этой Маргарите, на которой академик женился года четыре назад. Родители Бориса в последние годы редко бывали в Новой Аркадии, а он сюда приезжал только раз или два за это время, да и то ночью, и потом, его как-то мало интересовала жизнь академика. Хотя он, как и все в поселке, знал, что старик любил власть и в отношениях с женщинами утверждал ее простейшим способом — спал с ними. Еще была жива Вера Даниловна, когда их домработница родила от академика девочку. Борис помнил эту женщину — маленькую, прихрамывающую, с пухлым милым личиком. Она назвала дочь Гипатией — ей сейчас, наверное, лет десять-одиннадцать.

Когда гроб стали выносить из зала, Борис протиснулся вперед, чтобы быть поближе к Маргарите, и держался неподалеку от нее в крематории, глядя на ее шею с завитками волос, и она вдруг обернулась и строго посмотрела на него, но он заметил, как губы ее дрогнули в улыбке, и голова у него закружилась от радости...

Поминки проходили в зале по соседству с тем, где несколькими часами ранее был выставлен гроб с телом академика. Маргарита сидела во главе стола, но старики, выступавшие с речами, на нее не смотрели, и Борис думал о том, как это унижительно и как ей, должно быть, все это неприятно, и восхищался вдовой, ее выдержкой и ее холодной красотой.

Вскоре все громко заговорили, разошлись по диванам и креслам, расставленным вдоль стен, под окнами, за которыми начинало смеркаться.

За круглым столом собрались коллеги покойного академика — вельможные старики в жилетах, с коньяком и сигарами. Они говорили о ГКЧП, об августовских событиях, о советской власти, рухнувшей под собственной тяжестью и т. п.

— Что ж, — говорил профессор Петровский, самый молодой из стариков, — в октябре семнадцатого Россия первой в человеческой истории выступила против несправедного порядка вещей, и я не думаю, что к этому порядку вещей она вернется. Мы показали возможность великой альтернативы, рая на земле, только этим, думаю я, мы и интересны человечеству... с другой стороны, большевики, мечтавшие об интернационале и отмирании государства, совершили рывок, в котором так нуждалась Россия и на который у царской бюрократии и буржуазных либералов, героев Февраля, просто не было сил, и завершили великое дело Романовых, построив красную империю... без этого рывка мы не победили бы Гитлера...

Центром компании, состоявшей преимущественно из молодежи, был мужчина средних лет, похожий на Распутина, кажется, он был модным публицистом.

— Послушайте, я, конечно же, за отмену сто двадцать первой статьи, — говорил он, — гомосексуализм в России должен быть декриминализован без оговорок. Но с философской точки зрения — с философской точки зрения это же совсем другое дело... В женской ва-

гине мужчину ждет опасность, искус, жуть и счастье, там живет алчный и безжалостный хищник, там новая жизнь поджидает, там огонь адский и свет райский, а анус гомосексуалиста сулит нам только минутное удовольствие, нейромышечную эйфорию, не более того... женская вагина — врата чуда, а мужской анус — выход в смерть, уютная пустота, оргазм без последствий... Впрочем, вся сегодняшняя цивилизация — оргазм без последствий...

Борис подошел к старухе Семеновой-Гладышевой, поселковой царице.

Когда-то она была знаменитой на весь мир примой Большого театра, пожирательницей мужских сердец, звездой московских салонов. Первый ее муж сгинул в лагере, второй сбежал от нее с индийской танцовщицей. О любовниках ее говорили шепотом. Когда они приезжали в Новую Аркадию, поселок наводняли агенты госбезопасности. С годами она все реже покидала дачу, но каждый день совершала прогулки, опираясь на палку. В поселке побаивались ее злого языка: Ольга Романовна славилась не только умом, но и любовью к прямой речи. От неприятностей ее защищали звания народной артистки, лауреата Сталинской и Ленинской премий, Героя Социалистического Труда.

— Евреи разглагольствуют о русской идее, — сказала она, кивая Борису, — а педераст славит манду. Властители дум! Ничего не меняется!

— Ничего не меняется, — сказал Борис, — и какие бы ни случились в России катаклизмы, власть все рав-

но останется здесь. Эти люди выдадут своих дочерей и внуков за революционеров, и новые большевики очень скоро привыкнут к хорошо прожаренному мясу, виски и сигарам...

— Но тебе на это, разумеется, плевать, — сказала старуха. — Безусловно, цинизм способствует пищеварению, но в больших дозах он вреден для сердца, Боренька.

— Ах, Ольга Романовна! — Борис улыбнулся. — Неужели вы о любви? Так я через две недели женюсь...

Мимо них прошла Маргарита, за ней торопился широкоплечий коротышка с красным мясистым лицом, который выговаривал ей что-то злым шепотом — слов было не разобрать.

— Бедная девочка, — сказала старуха. — А вот этот — ее отец. Сволочь, говорят, и садист. Какой-то мелкий чин в КГБ, чуть не обосравшийся от радости, когда его дочь вышла за Тему... — Темой она называла Артемия Федоровича Савицкого, покойного академика. — Его хотели гнать из комитета за воровство и блядство, а тут такой фарт...

— Да, жаль ее, — сказал Борис.

— Пожалел волк кобылу, — сказала старуха. — Принеси-ка мне водки, Боренька.

Борис поманил рукой официанта, разносившего напитки, и взял с подноса две рюмки водки, поставил перед старухой. Она выпила одну за другой обе, фыркнула, вставила сигарету в длинный мундштук — Борис чиркнул спичкой — и с наслаждением затянулась.

— Бедная девочка, — повторила старуха задумчиво. — Ее сейчас обступят все эти холеные придурки, а ей любви хочется, любви, Боренька. Ты посмотри на нее — одинокая, красивая, насмерть перепуганная...

— Перепуганная?

— Каждой женщине хоть раз в жизни нужна любовь... хоть на пять минут... вспышка, амок, безумие, что-то настоящее — как сырое мясо или спирт, что-то безмозглое и подлинное... этим нельзя жить, но без этого и жизни нет... это так редко случается...

Старуха проводила взглядом маленькую прихрамывающую женщину с пухлым личиком, которая помогала официантам разносить напитки, и Борис вспомнил ее — это была та самая домработница, которая родила от академика дочь Гипатию.

— Ну да что ж... — Старуха откинулась на спинку кресла. — Как твои? Что Андрей? Светочка?

— Они сейчас в Лондоне, — сказал Борис. — Папа, как всегда, в прекрасной форме, ну а мама...

— А у мамы по-прежнему мигрени. — Старуха кивнула. — Мигрени, черт бы их взял... я ж ей говорила — рожай троих-четверых, — а она как раз из тех, кто способен на это, — так нет же, тобой, красавцем, ограничилась... Достоевский ей, видите ли, нужен! Ну на кой черт бабе Достоевский? Женщине с красивой жопой Достоевский не нужен!..

Через полчаса Борис оставил старуху, вышел во двор, под деревья, закурил.

— Борис Андреевич, угостите сигаретой, — услышал он знакомый голос за спиной.

Обернулся — перед ним стояла Маргарита, — торопливо вытряхнул сигарету из пачки, поднес огонь.

— Вам не холодно? — спросил он.

— Спасибо, — сказала она, снимая шляпку с вуалью. — Просто устала.

— Понимаю...

От нее пахло духами и еще чем-то, и когда Борис понял, что это запах ее пота, его бросило в жар.

— Мы же соседи? — спросила она. — Вот это ваш дом? С башенкой?

— С башенкой, — сказал Борис. — В заборе есть калитка, чтобы ходить друг к другу в гости без церемоний. — Вдруг подумал, что его слова о калитке могут быть истолкованы как намек, и уточнил: — Была калитка...

Она слабо улыбнулась, протянула ему свою сигарету и ушла.

Борис затянулся ее сигаретой — голова снова закружилась.

Незадолго до полуночи он попрощался с Маргаритой, пожав ей руку так сильно, что вдова посмотрела на него с удивленной улыбкой, и бегом бросился домой, на дачу.

Включил свет, налил себе виски из отцовских запасов, сел в кресло перед камином, вдруг вспомнил запах пота, которым обдала его Маргарита, и замотал головой, застонал, сказал вслух:

— Да что же это такое, а? Что же это за чертовщина!

Залпом выпил виски, налил снова, закурил, швырнул обгоревшую спичку в камин.

Сейчас он допьет виски, сказал он себе, и пойдет спать. Утром примет душ и уедет в Москву, чтобы больше никогда — никогда не видеть эту женщину, через две недели в Грибоедовском ЗАГСе под звуки свадебного марша он поцелует невесту, которая с той минуты станет его женой, а через два месяца они уедут в Швейцарию. Через год-полтора у них появится ребенок, года через три-четыре — второй, а потом — потом он допил виски, спустился в сад, отыскал в зарослях девичьего винограда калитку, кое-как справился с ржавой проволокой, которой калитка была привязана к столбику, сморщился, услышав скрип петель, быстро пересек сад, вдыхая запах влажной палой листвы, толкнул дверь — двери в поселке почти никто не запирает — и поднялся по лестнице наверх, замер, пытаясь унять сердцебиение и соображая, в какой из трех спален находится она, вошел в дальнюю комнату, увидел при свете луны белые покрывала и чехлы, которыми была затянута мебель, повернулся, оказался лицом к лицу с ней, обнял ее сильное душистое тело, нащел губы, потянул за собой, не понимая, что она шепчет, торопливо расстегивая его рубашку, стал снимать с нее ночную сорочку — она подняла руки — и впился губами в ее шею, в ее ключицы, в ее грудь...

Он очнулся от звука дождя, посмотрел на часы — скоро пять, стал одеваться.

Маргарита лежала на боку, подперев рукой щеку, и смотрела на него — лицо у нее было почти черным.

Борис понимал, что должен что-то сказать на прощание, но ничего не сказал, вышел, осторожно закрыв за собой дверь, спустился вниз с туфлями в руках, сел на нижнюю ступеньку, стал обуваться, ругая себя за то, что даже не попрощался с ней, и вдруг замер, услышав какой-то шум под лестницей, прислушался — кто-то всхлипывал.

Завязав шнурок, он заглянул под лестницу.

— Кто тут? — шепотом спросил он.

Протянул руку — пальцы наткнулись на голое плечо. Детское плечо. Он согнулся, влез в закуток, сел на пол, обнял девочку за плечи, она прижалась к нему и зарыдала. Он узнал ее — это была Гипатия, дочь домработницы, внебрачный ребенок академика Савицкого. Щуплое тихое существо, прятавшееся по углам и всего боявшееся, одинокое и несчастное.

— Ну что ты, — пробормотал он, — все пройдет...

— Папу жалко, — прошептала девочка, сглатывая, — и маму... всех жалко... они же все умрут, и я умру, и что же тогда будет, а?

— Будет то же, что и всегда, — сказал Борис. — Дождь, солнце, люди — все то же самое, только без нас. А мы, конечно, умрем, это правда. Все умирают.

Девочка всхлипнула, тяжело вздохнула.

Борис не знал, сколько они просидели под лестницей, а когда девочка наконец успокоилась, он выбежал из дома, вывел машину на улицу, поднялся к Марагрите, которая по-прежнему лежала в спальне среди зачехленной мебели, и сказал:

— Поехали! Собирайся, поехали!

— Не безумствуй, — сказала она, спуская ноги на пол, — на мне даже трусов нет...

Он схватил покрывало, набросил на нее, потянул за собой, спустились в прихожую.

— Сумочка! — спохватилась она. — Сумочка наверху!..

— Беги к машине, — сказал он, — я сейчас!

Она выбежала под дождь, оставив дверь открытой, и запрыгала босиком по лужам, придерживая покрывало на плечах.

Борис взлетел вверх, в ее спальню, схватил сумочку, выбежал в коридор, столкнулся с краснолицым широкоплечим коротышкой, ее отцом, он был в трусах и пижамной куртке.

— Вы что здесь? — закричал он возмущенно. — Вы тут кто?

— Сосед, — сказал Борис. — Ваш сосед.

Коротышка посторонился.

Борис сел за руль, вытер лицо ладонью, вжал педаль газа в пол.

У ворот им встретился желтый старик, который пристраивал свой стул у проходной, чтобы опять весь день выкрикивать одно и то же: «Пуго застрелился! Борис Карлович Пуго!»

Борис повернулся к Маргарите, подмигнул.

— Не смотри на меня, — сказала она. — Я на ведьму похожа.

— На привидение, — сказал он.

— Но мне-то за это ничего не будет, — сказала она. — А вот тебе...

Борис засмеялся. Он понимал, что сам погубил свою карьеру, будущее, что потерял невесту, потерял Швейцарию, что предстоит еще тяжелый разговор с родителями, что все будет не так, как мечтается, но он был готов ко всему, лишь бы рядом была она, ее высокая шея, ее гладкие плечи, ее тяжелые бедра, запах ее тела, который наполнял его животной радостью...

— Горит что-то, — сказала она, наклоняясь к лобовому стеклу. — Там.

Вдали над Москвой поднимался столб дыма, вверху расширившийся и клонившийся к востоку.

— Пожар, наверное, — сказал он.

— Пахнет гарью, — сказала она, морща нос.

— Тебе кажется, — сказал он, легко вписывая машину в поворот. — Обман чувств.

— Обман чувств. — Она откинулась на спинку сиденья, поправила на груди покрывало, улыбнулась. — Ну что ж...

Борис выжал газ.

Слепые и жадные

Родители развелись, когда Ефиму было пять.

Его мать, театральная художница, вскоре вышла замуж и исчезла из жизни сына, а отец, известный врач-невролог Истомин, маленький и пузатый, женился чуть не каждый год, всякий раз заводя при этом и любовницу. Одной из его жен была внучка легендарного героя Гражданской войны Вершинина.

Однажды Ефима отвезли на его дачу — там он и остался, там рос, там ходил в школу, в секцию карате, в кружок рисунка и живописи. Он считался правнуком генерала — огромного бритоголового старика с буденновскими усами.

— Почему Ефим? — строго спросил генерал, когда впервые увидел мальчика. — Из жидов?

— Дед, как тебе не стыдно! — сказала внучка. — Да у тебя каждая вторая жена была еврейкой!

— Русские мы, Иван Софроныч, — сказал доктор Истомин, — тверские русаки.

Генерал, которому тогда было за восемьдесят, вставал с рассветом, делал зарядку, хрустя суставами на весь дачный поселок, плотно завтракал, пил крепкий чай, а потом весь день занимался садом и огородом. Он пел песни яблоням и грушам, заигрывал с розами и отпускал грубоватые шуточки в адрес вьетнамских кабачков, всячески обыгрывая их фаллическую форму. Хорошо выпавшись после обеда, он звал Ефима на речку. Старик долго и с удовольствием плавал, а потом прогуливался по берегу упругим шагом, хищно поглядывая на полуобнаженных дачниц, которые смущенно хихикали и отпускали комплименты генералу, поджарому и длинноногому, от плеч до пяток покрытому черным волосом.

Каждый день генерал упражнялся в стрельбе. Посылал Ефима за браунингом, который хранился в верхнем ящике письменного стола, и учил мальчика стрелять. У Ефима получалось не очень, а вот старик с двадцати шагов попадал в левый глаз артистки Судаковой, бывшей его жены, оставившей после себя на чердаке толстую пачку афиш.

По вечерам, выпив за ужином самогона, который он гнал в садовом домике, старик пускался в воспоминания о конармейской юности, восхищаясь прирожденным воякой Буденным, которого называл «батькой Семеном», и ругая луганского слесаренка Ворошилова, «подхалима, комиссаришку и бездарь». Он вспоминал о трубачах Первой конной и стотысячных лавах, с ревом срывающихся в атаку, о жестоких боях под Горловкой и Дебальцево, о еврейках и польках, всласть настолавшихся под

красными конниками, о кровавых рассветах революции, занимавшихся над Европой, над всем миром, о героях и предателях...

— Мы были настоящими дикарями, — говорил старик, — мы мечтали о воле, о звериной воле, а вовсе не об это сраной свободе, которую придумали кремлевские счетоводы! Мы были из железа, крови и спирта, а они — они из чернил и сиропа! Какое время было, какое время... — Закуривал папиросу, ломал спичку. — А потом пришли свиньи и все сожрали...

— Какие свиньи? — спрашивал Ефим.

— Потом всегда приходят свиньи, Ефим...

Старику было мало Оксаны — ладной кобылки из Винницы, которая готовила еду, стирала, мыла полы и исправно служила в генеральской спальне. По субботам и воскресеньям к старику приезжали гости. Это были женщины от тридцати до шестидесяти, разодетые и надушенные, в туфельках на тонких каблуках, все как одна в теле. Генерал устраивал по такому поводу ужин с вином и цветами, надевал костюм и белоснежную рубашку, был галантен и импозантен, играл на гитаре и пел старинные романсы, а после ужина провожал даму в спальню, где потом долго гремела кровать и раздавались женские вопли...

К завтраку старик выходил свежим и бодрым.

— Любовь, душа... — Он пренебрежительно фыркал в чашку с чаем. — Душа — дура, всегда лжет и заплетается, а вот тело никогда не врет...

Ефим не мудрствовал о душе и теле — он просто трахался напрапалую с соседскими девчонками и их матеря-

ми, которые занимались сексом из любви к искусству или от скуки, и с дочерьми прислуги, пока они не поняли, что он не наследник дома и денег генерала.

В его комнате по стенам были развешаны листы ватмана, на которых карандашом и углем он запечатлел всех своих женщин.

Один из обманутых мужей нанял громил, которые должны были проучить юного ловеласа, но Ефим избил громил до полусмерти, а «мерседес» обманутого мужа сжег вместе с гаражом. Впрочем, доказать причастность Ефима к этому пожару так и не смогли.

Старик умер в саду, упал в розовый куст и замер.

Как только Ефим понял, что генерал мертв, он оставил Оксану рыдать над телом хозяина, а сам бросился в кабинет за браунингом. Пистолет он спрятал в саду. Милиционеры забрали из дома все наградные сабли и пистолеты, но про браунинг и не заикнулись: похоже, старик зарегистрировал не все свое оружие.

В тот же день отец отвез его домой, на Покровку, но через полгода доктора Истомина арестовали, судили и надолго посадили: он годами помогал детям из хороших семей уклоняться от службы в армии, зарабатывая на этом огромные деньги.

Во время последнего свидания доктор Истомин попросил Ефима не продавать квартиру на Покровке:

— Ни за что, понимаешь? Вернусь — заживем, поверь мне.

На следующий же день после вынесения приговора Истомину-старшему на Покровке появилась мать Ефима,

которую он не видел десять лет. Суд назначил ее опекуницей над несовершеннолетним сыном. Кира Георгиевна увезла сына к себе, в Подмосковье, а московскую квартиру сдала грузинским бандитам.

На новом месте Ефиму не понравилось: огромное кочковатое поле с кучами строительного мусора, металлолома и московскими высотками на горизонте, двухэтажный поселок, клуб с обшарпанными колоннами, продуктовый магазин с пьяницами под дверью, закрытый военный завод с битыми окнами, школа с недостроенным бассейном, в котором кисла и пузырилась зеленая жижа, грязный лес, тянувшийся до станции пригородной электрички, унылые субботние пикники на берегу озера, образовавшегося на месте заброшенного карьера...

— Серый, серая, серое, серые, — резюмировал он свои впечатления о поселке.

— Уважение к серости дается труднее, чем уважение к святости, — наставительно проговорил дед по матери, бродивший по квартире в кальсонах. — И вообще, держи-ка ты язык за зубами, люди тут могут тебя правильно понять — хайло-то набьют...

Впрочем, через месяц деда не стало. На кладбище пришли десятка два стариков, работавших когда-то на военном заводе, где дед был начальником цеха. Один из пьяных оркестрантов упал в яму, и его вытаскивали всем миром, чертыхаясь и хохоча, а потом в эту яму опустили гроб с телом деда.

Ефим сам отскоблил и отмыл комнату деда, сменил дверной замок, развесил по стенам свои рисунки и спрятал браунинг в надежном месте.

Мать ходила по дому в шелковом халате, пила водку и перебирала эскизы театральных декораций, за ужином рассказывала, как сегодня хорошо поработала, то и дело роняла вилку и высоко вскидывала голову, чтобы никто не подумал, что она пьяна.

Третьим жильцом дома была Венера. Эта девочка, ровесница Ефима, была дочерью двоюродной сестры Киры Георгиевны — Эльвиры, покончившей с собой из-за несчастной любви. Невысокая, крепкая, с глянцевою кожей и раскосыми глазами, Венера редко открывала рот и смотрела на всех исподлобья. С утра до вечера она не снимала фартука, в котором позвякивали ключи от дома, подвала и кладовок: девочка была при Кире Георгиевне и уборщицей, и кухаркой, и прачкой.

Через несколько дней Ефим познакомился с человеком по фамилии Дарьялов-Пропись, пожилым актером, любовником Киры Георгиевны, ради которого она сходила в парикмахерскую, надела платье с блестками и купила коньяк.

Дарьялов-Пропись привез фрукты — полкило неважных яблок, цветы и только что вышедшую книгу своих мемуаров под названием «Жизнь моя, сцена!». Кира Георгиевна ахала, прижимала книгу к груди и закатывала глаза, а Дарьялов-Пропись, выпивший на скорую руку стакан коньяка, снисходительно поглядывал то на нее, то на Ефима, постукивал по

столу пальцами, унизанными кольцами и перстнями, и рокочущим баритоном жаловался на интриганов, которые опять лишили его главной роли в каком-то «упоительно свежем спектакле». Его мясистое лицо с тщательно пробритыми складками оставалось при этом неподвижным.

Дарьялов-Пропись провел в их доме три дня, бродил по комнатам в махровом халате, чесался, курил трубку, ел, пил и говорил, скучливо позевывая, но оживлялся, как только в комнату входила Венера, которую он называл Верочкой.

— Вам бы маленькое платьице и шелковые чулочки, Верочка, — говорил он, ощупывая взглядом фигуру девочки. — Что-то летящее, легкое... брюки вас тяжелят...

Ефим видел, как перед отъездом Дарьялов-Пропись поймал Венеру в коридоре, прижал животом к стене и зашептал что-то ей на ухо. Она стояла, покорно опустив руки, и не шелохнулась, пока он ее лапал.

Вечером она поднялась к Ефиму, прошла вдоль стен, увешанных рисунками, и спросила:

— Меня можешь нарисовать?

— Могу, — сказал он.

Венера сняла фартук, свитер, брюки, лифчик, трусы.

— Носки, — сказал Ефим. — И сядь там.

Она сняла носки и села на стул.

— Повернись... грудь вперед, еще... голову повыше... левое бедро чуть ниже... вот так...

Через час рисунок был готов.

— И все? — спросила она.

— Зачем я буду старику ломать кайф? — сказал Ефим. — Ему же целка нужна.

— У твоей матери экзопротез, — сказала она. — Рак молочной железы. Вместо груди — контурированный экзопротез. И она меня кормит уже который год.

— Одевайся, — сказал он, вешая рисунок на стену. — Спокойной ночи.

С первых же дней Ефим стал в поселковой школе звездой. Рослый голубоглазый блондин, атлетически сложенный, хорошо одетый и знающий слова вроде «участь», «клеякий» или «баснословный», вызвал переполох среди девушек и злость у парней.

В первый же день он подошел на большой перемене к гиганту Шварцу и одним ударом отправил его в нокаут, а Китайца сбил с ног и вывозил лицом в луже. После этого позвал их в рощу за школой и сказал, что ему нужна помощь. Шварц и Китаец переглянулись, кивнули.

В субботу приехал Дарьялов-Пропись.

Увидев Венеру в мини-юбке, чулках и туфлях, он так разволновался, что не заметил, как напился.

— Фимочка, — сказала Кира Георгиевна, — может, вы прогуляетесь по холодку? Дмитрий Семеныч, погуляйте с Фимочкой...

Дарьялов-Пропись выпил еще полстакана коньяку, с трудом надел пиджак и плащ, прикурил сигарету фильтром, расхохотался и чуть не упал с крыльца.

На улице он взял Ефима под руку, и они двинулись к фонарю у автобусной остановки, потом свернули в кусты, тянувшиеся до опушки леса.

— Надо отлить, — сказал Дарьялов-Пропись, смеясь дурным смехом. — Отлить!

— Там болото, — сказал Ефим. — Лучше туда, направо. Он остался на тропинке, закурил, прислушиваясь к звукам, доносившимся из кустов.

Минут через пять в кустах раздался сдавленный протяжный стон, потом Дарьялов-Пропись застонал и заплакал в голос, а потом послышался глухой удар, затрещали ветки, и на тропинку вышли Шварц и Китаец.

— Все в порядке? — спросил Ефим.

— Ага, — сказал Шварц. — Я бы так нашу англичаночку...

— А он не сдохнет? — спросил Китаец.

— Не должен, — сказал Ефим. — Сваливайте, а я тут пока погуляю.

Шварц и Китаец скрылись в темноте.

Через час Ефим кое-как привел Дмитрия Семеновича в чувство и притащил домой.

С ног до головы грязный, в собственном дерьме, крови и блевотине, еле передвигающий ноги, Дарьялов-Пропись не мог сказать ничего вразумительного — только плакал от боли и унижения.

Под причитания Киры Георгиевны Венера и Ефим раздели несчастного, обмыли и уложили, а одежду бросили в стирку. Ни бумажника, ни документов при нем не оказалось.

На следующий день, едва дождавшись, когда Кира Георгиевна погладит его брюки, Дарьялов-Пропись оделся, вызвал такси и уехал.

Кира Георгиевна пила и рыдала до вечера.

После ужина она наконец ушла спать, и Венера сказала, не поднимая глаз:

— Если хочешь, я надену юбку и чулки.

— Нет, — холодно сказал Ефим, ковыряя в зубах спичкой. — Надевать ничего не придется...

Утром Венера сходила для него за сигаретами — триста метров до киоска и обратно. На нее тарасились дети, бежавшие в школу, взрослые, направлявшиеся к электричке, продавец в киоске тоже тарасился, отсчитывая сдачу, но она и бровью не повела. Взяла пачку сигарет левой рукой, зажала сдачу в правой, вернулась домой, отдала сигареты и сдачу Ефиму и только после этого надела трусы, лифчик, носки, брюки, свитер, домашние туфли и села чистить картошку к обеду.

По вечерам Ефим, Шварц и Китаец грабили пьяных, которые шли с электрички домой через лес. Если пьяный сворачивал в кусты, чтобы справить нужду, его били по голове гирькой, спрятанной в шерстяном носке, обирали и убегали. Чаще всего добыча была небольшой — немного денег, сигареты, но однажды повезло — в кармане пьяницы оказался мобильный телефон, который Китаец продал за пятьсот баксов. Еще раз им подфартило весной, когда они стали владельцами ноутбука. Чтобы продать его, пришлось ехать в Москву, но дело того стоило.

Сестра Китайца по пьянке рассказала о деньгах, которые рэкетиры каждую неделю собирают с ларечников и увозят в Москву. Ефим проследил за бандитами, понял,

что они приезжают на одной и той же «бэхе» примерно в одно и то же время и возвращаются в Москву через деревню Кураево. Их уже пытались ограбить, но в тот раз бандиты промчались через деревню не останавливаясь, сбивая прохожих и стреляя из окон машины. Значит, действовать надо было продуманно и решительно.

Шварц сделал обрез из охотничьего ружья, принадлежавшего старшему брату, который погиб на Кавказе, Китаец раздобыл гранату Ф-1, Ефим достал из тайника браунинг, Венера извлекла из кладовки детскую коляску, надела юбочку и накрасила губы.

Бандиты издали увидели молодую женщину, толкающую перед собой детскую коляску, и притормозили, а когда она, подвернув ногу, упала и при падении перевернула коляску, вышли из «бэхи». Водителя, оставшегося за рулем, Шварц застрелил в упор из обреза, а Ефим тремя выстрелами уложил тех двоих, которые пытались помочь Венере, четвертым выстрелом добил раненого. Сумки с деньгами уложили в детскую коляску и отправили Венеру домой, а сами помчались в другую сторону.

Отбежав метров пятьдесят от машины, Китаец не выдержал, вернулся, кинул гранату в «бэху» и бросился наутек. Машину разворотило взрывом.

— Ну а чего? — сказал Китаец, догнав друзей. — Зря я, что ли, «лимонку» с собой таскал?

— Дураки мы, — сказал Ефим. — Пушки у них надо было забрать.

— Да ладно, — сказал Шварц. — У нас и свои ничего...

Венера ждала их дома. Она уже переделалась, смыла косметику и сидела на диване с учебником английского — девушка занималась по индивидуальному плану, и вскоре ей предстоял экзамен по иностранному языку. Она сделала все, что велел Ефим, не задавая никаких вопросов, и ее не интересовало содержимое сумок, стоявших в его комнате.

Денег было много, и на них решили купить доллары и дойчмарки.

Ефим нашел обменник на окраине Москвы, договорился о покупке — по семьсот рублей за доллар и по четыреста пятьдесят за дойчмарку, и на следующий день они поехали в обменник с двумя баулами, браунингом, обрезом и кавалерийской шашкой, которую Китаец нашел на чердаке в сундуке. Похоже, прадед хранил ее как память о Гражданской. Шашка была в ножнах, украшенных серебром.

В обменнике их ждали трое кавказцев и толстуха с перманентом. Руки толстухи мелко дрожали, когда она пересчитывала деньги, и пахло от нее крепким потом, смешанным с запахом французских духов, которые продавали на рынках ведрами. Кавказцы нервничали, курили, обменивались злыми взглядами и короткими репликами.

Как только Китаец закончил считать доллары и марки, Ефим выстрелил в маленького кавказца, курившего у окна, Шварц разрядил ружье в живот второму, а Китаец выхватил шашку из ножен, прыгнул с колена и проткнул третьего насквозь. Шварц помог ему извлечь клинок, застрявший, видимо, в позвоночнике кавказца.

— А эта потекла, — сказал Шварц, глядя с отвращением на кассиршу, у которой брюки в паху потемнели.

— Меня сейчас вырвет, — сказал Китаец. — Не выношу я крови...

Ефим выстрелил кассирше в лоб, они вышли с баулами на улицу, поймали такси, купили по дороге пива, чипсов и через полчаса были в поселке — как раз к обеду, который приготовила Венера.

Начальника милиции майора Гнатюка в поселке звали Мелким Прайсом: у него был свой прейскурант, и все знали, сколько стоит драка, воровство, грабеж. Говорили, что за двадцать пять тысяч баксов майор мог закрыть глаза даже на убийство. Но таких денег здесь не водилось. Что возьмешь с семьи Китайца, с его четырех сестер, готовых отдаться любому за стакан портвейна и сигарету? Что возьмешь с матери Шварца, кормившей троих сыновей яичницей из двух яиц? Что возьмешь с хозяев ржавых киосков, торгующих паленой водкой и уже обобранных бандитами?

Другое дело — Ефим Истомин. Майор Гнатюк знал, что отца Ефима посадили за липовые медицинские справки, дорогостоящие справки. Такие люди умеют прятать денежки. У Ефима чистая кожа, он всегда хорошо одет, курит дорогие сигареты. Лучший ученик в школе, спортсмен, любимец женщин. Переспал чуть не со всеми девушками и женщинами в поселке, добрался и до красавицы Адели, учительницы английского, высокомерной столичной штучки, приезжающей в школу на иномарке. Несколько раз майор видел Ефима с Аделью в «Трех со-

снах», роскошном ресторане в заповеднике, куда простым смертным вход был не по карману. Майор хорошо это знал — там, в дачном поселке «Три сосны», он владел двухэтажным домом.

Похоже, московские следователи нашли не все деньги, которые доктор Истомин заработал на тех, кто хотел откосить от армии.

А может быть, дело не в папиных деньгах. Может быть, этот красавчик с ледяным взглядом участвовал в ограблениях в лесу, нападении на машину рэкетиров и других преступлениях, оставшихся пока нераскрытыми. Слишком уж часто его видели в компании Шварца и Китайца. Странная дружба для парня, свободно владеющего английским и участвовавшего в выставке живописи и графики, о которой писали в газетах.

После ограбления обменного пункта на окраине Москвы майор решил навестить в дом Истоминых. Пора делиться, решил он.

Он внимательно изучил ориентировку, присланную из Москвы, и понял, что трое молодых людей, которые убили кавказцев и кассиршу, а потом уехали на такси, прихватив сумки с большими деньгами, очень уж похожи на Ефима Истомина, Шварца и Китайца.

Да и в нападении на бандитов-инкассаторов участвовали трое парней, хотя тогда, если верить свидетелям, им помогала девушка с детской коляской.

Майор Гнатюк понимал, что действовать следует осторожно: у этих парней было оружие, и с перепуга они могли и пристрелить кого-нибудь.

Как-то он помог Кире Георгиевне донести до дома тяжелые сумки с продуктами, и она пригласила его на чай. Майор принял приглашение с «моим удовольствием». Пожаловался на дочь, которая неважно училась, потому что считала себя первой красавицей в округе. Вспомнил о сынишке-дауне. Кира Георгиевна ему посочувствовала. Рассказала о своем друге, несчастном актере, который вот уже который месяц не выходит из дома: депрессия. Ему нужен уход, и ей приходится разрываться на два дома, а тут сын подрастает, у него скоро выпускные экзамены, а вокруг столько соблазнов, особенно для бедных детей... глаза у них горят, а ничего не видят...

— Да, широка жизнь, я бы сузил, — сказал Гнатюк.

Он достал из сумки бутылку коньяку — Кира Георгиевна не стала отказываться.

Они долго сидели за столом, выпивали, разговаривали.

Пришла Адель, занимавшаяся с Венерой английским, и майор было засобирался домой, но Кира Георгиевна удержала его, принесла еще одну бутылку коньяка.

Когда урок у Венеры закончился, в гостиную спустился Ефим. Поздоровался с майором, поцеловал Адель в щеку и повел наверх, к себе. Майор проводил Адель взглядом — стройные ножки в туфлях на высоких каблуках, короткая юбка — и едва сдержался, чтобы не причмокнуть. Перевел взгляд на Венеру — она опустила голову, стала собирать со стола.

Наконец майор простился.

Для начала неплохо, думал он. Несчастливая стареющая женщина, легковерная и глуповатая, не обращающая на сына никакого внимания. На руке браслет с бриллиантами: «Ефим подарил». Подросток в рубашке за пятьсот баксов. Смертельно влюбленная в Ефима девочка, нелюдимая, довольно красивая, с аппетитными формами, готовая ради любви на все. Этот парень заставил ее голышом прогуляться по поселку, и она это сделала без колебаний. Терпение отверженных страшно. Рано или поздно она взорвется. Может быть, даже сдаст его с потрохами майору Гнатыку, и тогда он возьмет свое. Много возьмет и не будет ни с кем делиться. Майор был жаден — это в поселке знали все.

Когда Гнатык ушел, Венера поднялась наверх, прильнула к двери и долго слушала, как поскрипывает кровать и постанывает Адели, а потом спустилась в кухню и стала мыть посуду.

В конце июня, после школьного выпускного вечера, тело Адели было обнаружено в бытовке на краю заброшенного карьера. Она была изнасилована и забита до смерти железным прутом. Пол, стены, окно и даже потолок бытовки — все было забрызгано кровью. Ее автомобиль с разбитыми стеклами стоял неподалеку.

Через два часа был взят под стражу Шварц: в его доме нашли мобильный телефон, принадлежавший учительнице английского, и две стодолларовые купюры с пятнами крови.

Проходя через двор, Шварц оттолкнул конвоира и крикнул в толпу:

— Пацаны, это не я! Не я!

Тем же вечером на платформе пригородной электрички к Ефиму и Китайцу, которые наблюдали за пассажирами, подошел незнакомый мужчина. Он схватил Ефима за рукав и закричал во весь голос:

— Это он! Он! Я тебя узнал, сука! Узнал! Это ты меня по голове! Ты! В лесу!

Китаец перепрыгнул через ограждение платформы и скрылся в кустах.

Вынырнувший из толпы майор Гнатюк надел на Ефима наручники.

Втроем они спустились на стоянку, незнакомец сел за руль, выехали на шоссе и помчались на юг.

— А куда мы едем, товарищ майор? — спросил Ефим.

Майор крякнул, достал из кармана черный мешок и надел Ефиму на голову.

— Сколько вы хотите? — спросил Ефим.

— А ты подумай, — сказал майор. — У тебя будет время подумать. Налево, Сережа.

Машина съехала с асфальта, пошла враскачку по грунтовой дороге.

Минут через десять остановились.

Заскрипели ворота.

— Вылезай! — приказал майор.

— Так сколько хотите? — спросил Ефим.

— Все, — сказал майор. — Теперь — все. Все твое и все папенькино.

— Товарищ майор!..

Гнатюк крепко сжал его руку выше локтя, повел куда-то. Снова скрипнули петли, запахло погребом. Майор легонько подтолкнул Ефима, тот шагнул, покатился по лестнице, ударился головой и потерял сознание.

Ефим очнулся через час, может, через полтора.

Сел, провел ладонью по голове — крови не было, только шишка.

Встал, держа руку над собой, другую вытянул, наткнулся на бок стеклянной банки. Значит, он в погребе. Нащупал ступеньку, осторожно поднялся к двери, нажал плечом — дверь не шелохнулась. Вернулся к стеллажам, взял банку, разбил, выбрал из осколков тот, что побольше и поострее, сел, привалившись спиной к стене, замер, закрыл глаза, прислушался. Вокруг было тихо. Что ж, оставалось только ждать.

Но долго ждать ему не пришлось.

Сначала он услышал, как кто-то пытается открыть дверь, потом его ослепил свет фонаря.

— Выходи, — сказала Венера. — Ты там живой?

Он выбрался наверх.

— Вот. — Она протянула ему пистолет. — Твой.

— Наручники... — Он повернулся к ней спиной. — У тебя есть ключ?

— Нет.

— Тогда стрелять придется тебе. Умеешь?

— Нет.

— В магазине восемь патронов. Целишься, стреляешь, считаешь. Если целей две или три... ты же правша?

Тогда начинай с той цели, которая справа. Стреляешь справа налево. Все поняла?

— Все.

— На чем сюда приехала?

— На такси.

— А как догадалась, что надо сюда?

— Догадалась.

— Ладно, пойдём.

Они поднялись на крыльцо, замерли, прислушиваясь: в доме было тихо.

Ефим толкнул коленом дверь, и они проскользнули в прихожую, потом на цыпочках прокрались в гостиную. Из-за двери за лестницей, которая вела наверх, доносились голоса. Ефим лег на пол, попытался заглянуть в щель под дверь, но разглядеть ничего не смог. Встал, прошептал: «Только не останавливайся», ударом ноги открыл дверь, Венера вскинула браунинг, держа его обеими руками, и открыла огонь.

— Хватит, — сказал Ефим. — Хватит!

Он осторожно приблизился к майору — пуля разнесла ему голову, заглянул под стол — второй мужчина еще дергался. Кивнул Венере. Она выстрелила мужчине в голову.

— Ну как? — спросил Ефим.

— Нормально, — сказала она, облизывая губы. — Волосы дыбом.

— Ключи, — сказал Ефим.

Она вытащила из брючного кармана майора ключи, сняла с Ефима наручники.

— Надо сваливать, — сказал Ефим.

— Наверху кто-то есть, — сказала Венера. — Слышишь?

Они осторожно поднялись наверх, Ефим взял у Венеры пистолет, толкнул дверь.

В комнате было темно, но кто-то там был.

— Кто там? — услышали они старушечий голос. — Кто там есть?

Ефим щелкнул выключателем — под потолком вспыхнула плоская люстра.

У окна в кресле сидела древняя старуха в платочке. По тому, как она смотрела на него, Ефим понял, что старуха слепая.

— Вы кто? — спросила старуха.

— Этого, бабушка, мы и сами пока не знаем, — с облегчением сказал Ефим. — Ты тут одна? Больше никого тут нет?

— Кто вы? — снова спросила старуха.

Ефим выключил свет, закрыл дверь, повернулся к Венере.

— Это ты убила Адель?

— А могла бы?

— Могла, — сказал он. — Я думаю, могла бы.

— Спасибо, — сказала Венера.

— За что?

— Что подозреваешь меня, а не Шварца. И не Китайца. И вообще.

— Ладно, проехали, — сказал Ефим.

— Дальше что?

— Скоро придут свиньи и все сожрут, а пока жизнь наша...

— Свиньи?

— Неважно, — сказал он. — Пойдем. Деньги там же?

— Да.

Они спустились во двор, вышли за ворота.

— Теперь куда? — спросила Венера.

— Туда, — сказал Ефим.

Он взял ее за руку, и она вздрогнула, и Бог вздрогнул...

Девушка с юга

Старик наткнулся на девушку в овраге — она спала под кустом орешника, на спине, широко раскинув ноги и руки. В лесу так не спят. В лесу спят иначе — сидя или на боку, а если и на спине, то недолго. А девушка спала долго, лежала совершенно неподвижно, как мертвая или пьяная. Но от нее пахло не алкоголем, а крепким потом. Чужая, подумал старик. Илья Ильич Абаринов знал в округе всех женщин — в девяти случаях из десяти это были ветхие старухи. А этой лет семнадцать-восемнадцать. Может, меньше. Она не была похожа на москвичку, приехавшую погостить у бабушки. Городские не умеют спать в лесу. А эта спала крепким сном, не обращая внимания на черных крупных муравьев, сновавших по ее лицу, шее, рукам. Пятки у нее были черные, растрескавшиеся — долго шла босиком. Одета не пойми во что, похоже скорее на мешок, чем на платье.

Девушка вдруг открыла глаза, села, почесалась — запах пота усилился — и посмотрела в ту сторону, где под корягой притаился старик с ружьем. Потянула но-

сом — как зверь, подумал Илья Ильич, — и вскочила. В руках у нее был небольшой узелок, который, видимо, лежал в высокой траве. Старик опустил голову, а когда поднял, девушки на поляне не было. В той стороне, где она скрылась, птичьи голоса на несколько мгновений затихли...

Через час он ее нашел. Она напала на малинник и принялась поедать ягоды жадно, без разбора, зеленые и спелые. Потом напилась из ручья, встав на четвереньки. Потом встретила косуленка, протянула руку, но он бросился от нее наутек, как от хищного зверя. Потом присела за кустом, чтобы опростаться, а узелок положила рядом.

Она шла на северо-восток, прихрамывая и редко огибая препятствия, напрямик через муравьиные кучи, вброд через ручьи и речушки, иногда по пояс в крапиве, босиком по колючкам, напролом через бурелом, и когда выбиралась на солнечную поляну, то казалось, что девушка вся охвачена дымным пламенем, а за нею тянется шлейфом запах гари — запах беды и горя, и хотя это чувство было неопределенным, смутным, оно беспокоило старика все сильнее...

Вскоре после полудня она вышла к озеру, спрятала узелок под кустом и не раздеваясь бухнулась в воду. Плавать она, похоже, не умела — барахталась на мелководье. Искупавшись, вылезла на берег, взяла узелок и направилась к хутору — его гонтовые крыши виднелись за деревьями.

Старик опередил ее.

Девушка остановилась, увидев Абаринова, который сидел на крыльце, и уставилась на карабин, лежавший у старика на коленях.

От нее разлило потом — Илья Ильич за два метра чувствовал ее запах.

— Чего надо? — спросил он.

— Ничего, — ответила она хриплым голосом.

— Ладно, — сказал он. — Но ты воняешь.

Она кивнула.

— Надо тебе в баню...

Девушка снова кивнула.

Она не выглядела испуганной — скорее равнодушной. Может быть, от усталости.

— Давно идешь? — спросил старик.

— Давно.

— Что там у тебя?

Он кивнул на узелок.

— Голова.

Девушка подняла узелок повыше.

— Чья?

— Папина.

— Тухлая, что ли?

— Нет, — сказала она. — Я ее в капустные листья завернула. А теперь она сухая, больше не пахнет.

— Ладно, — сказал старик. — В дом с этим нельзя. Сиди здесь.

Она села на скамейку рядом с крыльцом, положила рядом с собой узелок.

Илья Ильич вынес ей бутерброд с маслом.

— Один живешь? — спросила девушка.

— Ешь.

Часа через два он разбудил ее — она спала сидя — и сказал, что баня готова.

В предбаннике девушка скинула с себя мешок — под ним ничего не было, положила узелок в углу и шагнула в парную. Старик велел ей подойти к окну, чтобы ее можно было хорошо разглядеть. Она встала у маленького окна. Невысокая, стриженная наголо, с маленькой грудью, сильными ногами, широкими бедрами, на спине перекрещивающиеся шрамы, на ягодице след от ожога.

— Как тебя зовут?

— Лона, — сказала она. — Илона.

Старик фыркнул.

— Мойся. Потом обедать будем.

После бани Илья Ильич выдал девушке сандалии, ситцевое платье и расческу. А узелок с головой отца велел отнести в подпол, на ледник.

За стол сели, когда солнце стало клониться к закату.

Старик разлил по граненым стаканам самогон.

— Со знакомством, — сказал он.

Она кивнула, выпила самогон и набросилась на еду.

Когда девушка насытилась, старик спросил, откуда она и чьих будет.

— С юга, — сказала она. — Папа был механиком, мама фельдшером. Их убили. Я одна осталась, жила там, пока было можно, потом ушла.

— Пешком?

— И на попутках.

— Кто убил? Свои? Черные?

— Убили.

— А шрамы на спине откуда?

— Били.

Илья Ильич снова налил в стаканы самогона.

— Пей, — сказал он. — Спать пора.

В спальне девушка сняла платье, посмотрела в угол.

— А икона где? — спросила она.

— Нету, — сказал Илья Ильич. — Сколько тебе?

Лет — сколько?

— Шестнадцать. Скоро шестнадцать.

— Ложись.

Она легла, широко развела ноги, согнув в коленях.

— На живот, — сказал Илья Ильич, снимая штаны и не глядя на девушку.

Она послушно перевернулась, прижалась щекой к подушке и приподняла задницу.

На следующий день Илья Ильич показал Лоне усадьбу.

Заборов здесь не было: поблизости уже лет пятнадцать никто не жил — несколько заброшенных домов в лесу вросли в землю и покрылись мхом, а дорога, соединявшая с ближайшей деревней, превратилась в тропку, едва различимую в высокой траве.

Весной старик вскапывал пять-шесть грядок под зелень, рядом сажал картошку. Держал несколько ульев, двух свиней, десятка два кур, полтора десятка кроликов, иногда заводил бычка. Летом ловил сетью рыбу — в озере водились лещ, плотва, окунь. Гнал самогон, выращивал

табак, хотя курил мало. В просторных кладовых и в погребке висели окорока в холщовых мешках, стояли бочки с солониной и квашеной капустой. Азартным охотником он не был, но зимой всегда держал ружье под рукой: волки бродили вокруг усадьбы, выли, пугали скотину. Раза два в месяц выкатывал из сарая мотоцикл с коляской и отправлялся за покупками в Даево, большое село с церковью и школой, лежавшее километрах в пятнадцати от хутора. Возвращался с солью, сахаром, мукой и порохом.

Друзей у него не было, гостей не звал, в Бога не верил.

— Понятно, — сказала девушка. — А там что?

Метрах в ста от хутора стоял довольно крепкий сарай, сложенный из бревен, строение без окон, запертое на большой замок. Вокруг сарая были навалены кучи отбросов, над которыми гудели мухи.

— Ничего, — сказал старик. — Тебе туда нельзя.

— Понятно, — повторила девушка.

Вечером, однако, она украдкой последовала за стариком, который понес в сарай кастрюлю с едой.

Когда он открыл дверь сарая, из глубины пахло вонью, перебившей запах гниющих отбросов, которые валялись вокруг.

Лона подползла поближе и услышала, как старик брэнчал в сарае каким-то железом и с кем-то вполголо-са разговаривал. Ему отвечал мужчина. Но слов Лона не разобрала.

Всю неделю она помогала старику ловить рыбу, тащить ее на берег, чистить, солить. Рыбы оказалось так

много, что не хватало соли, и в субботу Илья Ильич поехал в Даево.

Дождавшись, когда звук мотоциклетного двигателя стихнет в лесу, девушка пробралась огородом к запретному сараю. Подкралась, осторожно ступая среди куч отбросов, приложила ухо к стене. Долго стояла, прижавшись к бревнам, но ничего не услышала. Наконец не выдержала, подошла к двери и постучала кулаком.

— Эй, кто там?

Из щелей в двери тянуло тошнотворным запахом.

Постучала сильнее, повисила голос:

— Ты там кто, эй? Ты живой?

Запах усилился, словно тот, кто находился в сарае, приблизился к двери.

За дверью звякнуло.

— Ты здесь, что ли? — спросила Лона.

Снова звякнуло, и хриплый мужской голос прорычал:

— Прижмись!

— Что?

— Прижмись к двери! — прорычал мужчина. — Сними с себя все и прижмись!

Она огляделась — никого вокруг не было, быстро сняла платье, прижалась голым телом к двери и услышала, как мужчина за дверью втягивает ее запах ноздрями, шумно выдыхает и снова втягивает, стонет, выдыхает, стонет и втягивает.

Звук его дыхания и его мерзкий запах сдвинулись ниже.

Девушка прижалась лобком к доске, мужчина засопел, зарычал, за дверью опять звякнуло, и в этот миг Илья Ильич схватил Лону за ухо и повел домой.

— Тебя за это били, а? — спросил он, вталкивая ее в прихожую. — За это? За непослушание? За любопытство?

Усадил ее на стул в кухне, сел напротив.

— За это? — повторил он. — На меня смотри!

Она подняла голову, но промолчала.

— Я тебя бить не буду, — сказал он. — Прогоню. А вернешься — пристрелю. Поняла?

Лона кивнула.

— Посидишь сегодня под замком.

Вернувшись поздно вечером из Даева, он нашел Лону в кухне.

Она по-прежнему сидела голая в кухне на стуле.

— На-ка. — Илья Ильич бросил на стол большой пакет. — Оденься.

В пакете оказались два платья, юбка, тонкий свитер, колготки, два лифчика, несколько футболок и блузок, сандалии, туфли на высоком каблуке, кружевные трусы, сверток с губной помадой и тушью для глаз, коробочка с серьгами. Серьги были красивые — золотые, тяжелые, с красными камешками.

К ужину Лона вышла в новом платье, в туфлях на высоком каблуке и с серьгами в ушах. Она подвела глаза и накрашила губы.

— Да ты у нас красавица, — насмешливо сказал старик. — Садись-ка, все стынет.

Выпив самогона, спросил:

— А забеременеть не боишься?

— Нет, — сказала она. — Они сказали, что детей у меня не будет.

— Кто это они?

— Привели какую-то тетку, она сделала аборт и сказала, что детей не будет.

Старик закурил.

— Нравится, значит, тебе это дело, да? С мужиками — нравится? Сколько их у тебя было? Трое? Пятеро? Десятеро?

Лона подняла голову от тарелки и улыбнулась.

Старик впервые увидел, как она улыбается: улыбка у нее была нехорошая, темная.

Что ж, холодно подумал он, она пришла с юга, где испокон веку жило зло, и у нее были и время, и условия, чтобы пропитаться этим тысячелетним злом так, что ни в теле, ни в ее душе не осталось ни одной свободной клетки...

Осень и зиму они прожили тихо, спокойно.

С каждым днем спать ложились все раньше, просыпались все позднее.

В начале ноября старик заколол поросенка, Лона помогла солить мясо.

В новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов выпили шампанского, старик подарил девушке золотое кольцо с прозрачным искристым камнем и тонкую цепочку с крестиком.

В феврале Илья Ильич подстрелил у крольчатника матерого волка.

В марте Лона провалилась под лед, торопясь к старику, который дергал налимов из проруби. Илья Ильич долго вытаскивал ее из воды, потом отпаивал чаем с медом, но это не помогло — у девушки поднялась температура.

Илья Ильич сунул в рюкзак канистру самогона, встал на лыжи, пересек озеро по льду и на другом берегу, в деревне Римской, раздобыл антибиотики, жаропонижающее, коньяк, лимоны, грецкие орехи и красное вино. Он кормил Лону таблетками, давал красное вино с куриными желтками и подкармливал кашницей из орехов, лимонного сока и коньяка. Она плохо засыпала, и он брал ее на руки, качал, расхаживая с суровым лицом по комнате туда-сюда, и мычал «Серенького волчка» без слов. В такие ночи он ложился на полу, чтобы Лоне было не тесно спать. Через две недели она выздоровела.

Весна была сильной, скорой. За несколько дней на озере растаял лед, лесные ручьи вернулись в свои русла, солнце светило ярко, на опушках появились белые и синие цветы, названия которых Лона не знала.

Незадолго до Пасхи старик поехал в Даево за покупками, долго не возвращался, и девушка отправилась на поиски. Нашла она его километрах в трех-четыре от хутора. Старик лежал в овраге, рядом с мотоциклом, вокруг валялись мешки, коробки и пакеты. Илья Ильич не мог толком объяснить, что случилось. Сердце, наверное. Потемнело в глазах — очнулся на земле.

Ноги у него плохо слушались, и девушке пришлось тащить его на себе до самого дома. Старик был тяжел, через

каждые сто шагов приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Илья Ильич скрипел зубами, чертыхался, сопел. Пошел дождь, оба промокли насквозь. До хутора они добрались в темноте. Девушка уложила старика в постель, растерла его скипидаром, дала таблетку, наполнила чаем с медом, а потом взяла тачку, в которой возили навоз на огород, и вернулась к мотоциклу за покупками, разбросанными по земле.

Утром старик попытался встать с постели, но у него не получилось. Девушка накормила его яичницей, наполнила чаем с коньяком, и Илья Ильич заснул.

Потом она нарезала колбасы, копченого мяса, хлеба, сделала бутерброды с сыром, налила в термос чаю, подвела глаза, накрашила губы, сняла лифчик и трусы, надела ночную рубашку, накинула на плечи пальто, сложила еду, термос и бутылку коньяку в мешок, взяла ключи и пошла к сараю, стоявшему на отшибе.

Постучала в дверь.

— Эй, ты живой там?

Голос у нее дрогнул.

За дверью звякнуло.

Лона отперла замок, толкнула дверь, остановилась на пороге, вглядываясь в темноту.

— Иди сюда, — прохрипел в глубине сарая мужчина. — Здесь я.

И как только она переступила порог, он сбил ее с ног, повалил, рванул на ней пальто, навалился, зарычал, впился, ворвался, и они заколотились, забились на полу, звякая цепью, среди кусков копченого мяса, хлеба и ложек,

захрипели, завывли оба в унисон, Лона вцепилась зубами в его плечо, и никогда еще ей не было так хорошо, как в тот миг, когда она ощутила на своем лице его смрадное дыхание...

Потом она помогла ему освободиться от цепи, и мужчина набросился на еду.

— Как тебя звать-то? — спросила она.

— Ипполит, — прорычал он, давясь едой.

— Смешное имя, — сказала она. — И долго ты здесь сидишь?

— Долго. — Он поднял голову, посмотрел на нее, шевеля губами. — Три тысячи сто двадцать четыре дня, если считать сегодняшний.

— Ешь, — сказала она. — Ешь, Ипполит.

В сарае пахло дерьмом, на полу валялись какие-то объедки, тряпки, в углу лежал тюфяк, на нем — подушка без наволочки и одеяло без пододеяльника, рядом на полу стояла глубокая алюминиевая миска.

Лона протянула Ипполиту коньяк — он схватил бутылку, запрокинул голову и опростал в несколько глотков.

— Соскучился? — спросила девушка.

— Чего?

— По жизни — соскучился?

Ипполит засмеялся, вытер ладонью рот.

— А ты? — спросил он.

Она усмехнулась.

— Иди-ка, — сказал он, взяв ее за руку. — Сюда иди...

— Туда пойдём, — сказала она, — а то здесь грязно.

Они занялись сексом на тюфяке.

Отдышавшись, Лона спросила:

— А теперь что?

— Что — что?

— Делать что будем?

— Пойдем куда-нибудь.

— Куда?

— Пойдем, когда придем.

— А старик?

— А что старик? — Ипполит сел, стал натягивать штаны. — Разберемся сейчас с ним. Одевайся давай.

Они взяли в гараже молоток, большие гвозди и пошли в дом.

Илья Ильич не мог сопротивляться — сил не было.

Ипполит и Лона вытащили его из постели, усадили за стол. Лона держала старика, а Ипполит заколачивал гвозди. Одним гвоздем он прибил к столешнице правую руку старика, другим — левую. Гвозди были длинными, вышли с другой стороны столешницы — Ипполит залез под стол и при помощи молотка загнул кончики гвоздей.

— Да он обосрался! — сказала Лона. — Фу-у-у!

— Обосрешься тут, — сказал Ипполит. — Больно же.

Они принесли из гаража четыре канистры с бензином, одну вылили на крыльцо, другие на стены.

— Дерево сырое, не загорится, — сказала Лона. — Надо внутри все полить.

— Внутри — это слишком быстро, — сказал Ипполит. — Он сразу помрет, а я не хочу сразу.

— Погоди, — сказала Лона. — Одеться ж надо.

Она надела новое белье, платье, колготки, поправила макияж, сложила в сумку одежду, обувь, сережки, сделала бутерброды, взяла две бутылки самогона, деньги, которые старик прятал в кладовке, и голову отца, хранившуюся в подполе на льду.

— Ты еще долго там? — крикнул Ипполит.

— Иду!

Ипполит тоже переоделся — на нем были чистые брюки и кожаная куртка.

— А ты ничего, — сказал он, когда Лона вышла на крыльцо. — С такой хоть в Москву!

— Пошли, что ли, — сказала она.

— А это еще что? — спросил Ипполит. — Капуста?

— Голова, — сказала Лона. — Отца моего голова. Надо ее похоронить — тогда и жить можно.

— Ну так давай здесь закопаем. Чего таскаться-то с ней?

— Здесь жизни уже нет, — сказала она. — Пойдем туда, где есть.

— А ее нигде нет. Может, на том свете.

— Ну тогда на тот свет и пойдем — там и закопаем.

Ипполит пожал плечами, чиркнул спичкой — пламя побежало по крыльцу, по стене, — взял у Лоны тяжелую сумку, и через десять минут они скрылись в лесу.

Старик очнулся, попытался сесть прямо — получилось. Он понимал, что это еще не все, что сын не оставит его прибитым к столу умирать от заражения крови, и удовлетворенно кивнул, увидев язык пламени за окном. Огонь. Конечно. Огонь будет медленно въедаться

в старое сырое дерево, пока не займется весь дом, стены и гонтовая крыша. Но прежде он проникнет в прихожую, где свалены канистры с керосином, старая одежда и обувь, проест дверь, расползется по дому, пожирая все, что попадется на пути, — полы, тряпье, столы, стулья, диван, кровать в спальне, ковры и шторы, баллоны с газом. Доберется и до иконы, которую Илья Ильич убрал с глаз долой больше двадцати лет назад, когда его сын Ипполит убил жену старика и ее дочь. Изнасиловал и убил. Перегрыз зубами глотки, весь забрызгавшись их кровью, и улыбнулся, когда отец застал его в кустах, рядом с трупами, снова улыбнулся, когда отец схватил дубину и ударил его, ударил изо всей силы, попал по плечу, а Ипполит только улыбался, глядя на отца исподлобья. Вот тогда старик и понял, что Бога нет, и сжег иконы в печке. Про эту, с Богородицей, просто забыл — она лежала в сундуке, под бельем.

А сделать это надо было, конечно, раньше, когда Ипполит изнасиловал и задушил десятилетнюю Лупу, дурочку, дочь соседки-пьяницы. Но тогда ему было пятнадцать, и, видать, парень еще чего-то боялся, а потому оттащил тело подальше от хутора и спрятал — притопил в камышах, и когда нашли Лупу, полусгнившую и объеденную рыбами, врач только и сказал, что дурочка была загрызена — и не волком, а человеком. Насчет изнасилования врач ничего сказать не мог, Илья Ильич сам догадался — Ипполит был помешан на женском и не мог упустить своего. Вот тогда и надо было сажать его на цепь. Но доказательств не было, а что там видел Бог, кто ж знает...

Мир неполон без последнего звена, без высшей инстанции, без Кого-то, Кто выносит окончательное решение, называя зло злом, добро — добром, а смородину — смородиной. Этот Кто-то был не просто выше участкового милиционера, отца, директора школы и Генерального секретаря ЦК КПСС, но вообще выше всего, над всем и над всеми. Бабушка и мать называли его Богом и показывали маленькому Илье старика с белой бородой, восседающего на облаке. Бог — это любовь, говорила бабушка. Любовь, говорила мать, бессмертие души. Но Илья, конечно, не верил, что это Бог. Настоящий Бог невидим и всемогущ, зачем ему борода и облака? Если этот, с бородой, Бог, значит, не он последний, значит, есть еще Кто-то, Кто следит за порядком, и вот в Него Илья верил, его волю готов был угадывать и исполнять.

Он верил в Него, когда женился, когда родился ребенок — Ипполит, верил даже тогда, когда жена изменила с механиком из лесхоза, а потом, не выдержав молчания мужа, утопилась, верил, потому что все случившееся не нарушало порядка, и даже развал страны и все, что за этим последовало, ничего не изменило, потому что даже это в известном смысле было частью того, что освящается свыше, как наказание является частью преступления...

Оставшись один, он не изменился. У лесника немало работы. Он был суровым и твердым человеком, следовавшим правилам, освященным свыше. Если сын ошибался, он наказывал его. Если надо было, бил, если не надо было, запирали в кладовке на ночь. Через несколько лет привел

в дом молодую женщину с ребенком, с девочкой десяти лет. Если они вели себя неправильно, он их наказывал. Сначала заставлял признать свою вину, покаяться, а уж потом наказывал. Порол или запирал в кладовке на ночь. Но это случалось редко, очень редко, и слава Богу: Илья Ильич не был зверем.

Когда погибла дурочка Лупа, он впервые почувствовал, что в жизни происходит что-то не то, не так. Жена защищала Ипполита, говорила, что он не убивал дурочку, и как только он, Илья Ильич, мог такое подумать о своем сыне, и ей вторила ее дочь, они вдвоем защищали парня, а тот только ухмылялся, поглядывая на отца исподлобья, и точно так же он ухмылялся, глядя на отца исподлобья, когда Илья Ильич застукал его в кустах, рядом с трупами жены и ее дочери, у которых были перегрызены глотки. И на суде ухмылялся, нагло, без тени смущения то и дело меняя свои показания, подзуживаемый адвокатом, который говорил, что нет стопроцентной уверенности в том, что это именно Ипполит Абаринов изнасиловал эту женщину и эту девочку, а потом перегрыз им глотки, свидетелей ведь не было, а группа крови у Ипполита такая же, как у его отца, как у множества других мужчин в округе, а вдобавок он несовершеннолетний, и в конце концов суд дал парню десять лет, и вот тогда Илья Ильич сжег иконы, потому что не было никакого порядка и никого, кто следил бы за этим порядком, нет никакого последнего, невидимого и всемогущего, и наказание не часть преступления, а есть только эта тучная баба в судейской мантии, страдающая запорами...

Десять лет он ждал, когда сын вернется из тюрьмы, и когда Ипполит переступил порог дома, Илья Ильич молча накормил его, напоил, отнес упившегося до полусмерти сына в сарай, надел на него цепь, поставил рядом миску с вареной картошкой и кружку с водой, запер дверь на висячий замок, а на следующий день сказал, что из этой тюрьмы Ипполит не выйдет никогда. Умрет тут, в этом сарае, среди куч собственного говна, и отец зароет его на помойке, под отбросами, чтобы и памяти о нем не осталось, об Ипполите Абаринове, убийце.

— Когда-нибудь я убью тебя, — сказал Ипполит. — Вот увидишь.

Но отец не обратил внимания на его пустую похвалбу. Зло было надежно заперто.

Илья Ильич объезжал свой участок, ухаживал за скотиной, возделывал огород, ловил рыбу и гнал самогон. Он не вспоминал о своих женах: их смерть была наказанием свыше. Если возникала потребность в женщине, он отправлялся в Даево или Римское, где этого добра было навалом. Он ни к кому не прилеплялся сердцем, заперев его, посадив на цепь, как посадил на цепь сына. Все должно быть по-честному. Наказание не является частью преступления, но только не на хуторе, где живет и правит Илья Абаринов. Он занял круговую оборону. Он держал ружье наготове. Его дом был последней крепостью на этой земле. Никто, конечно, и слыхом не слыхал об этом хуторе, затерянном среди лесов и болот, об этом нелепом старике, готовом в любую минуту вступить в бой, а если бы услышали, наверное, померли бы от смеха.

Но ему было плевать. Он держал зло на цепи, не верил в Бога и не подпускал к своему сердцу никого, особенно женщин.

Что ж, он ослабил бдительность. Крепостная стена дала трещину. И произошло это в те дни, когда она металась в бреду на постели, звала маму, плакала во сне, когда он укачивал ее, мыча без слов «Серого волчка», а она прижималась к нему горячим детским телом, обхватив его шею руками, и была беспомощна. Вот тогда это и произошло. Вот тогда и надо было завернуть ее в мешковину, спустить в прорубь и забыть. Порубить топором на куски и скормить свиньям. Отдать зверю, сидящему на цепи, и сжечь обоих в сарае. Но ему и в голову это не пришло. Вот в чем его ошибка: ему и в голову это не пришло.

Он дрогнул. Он подпустил ее к своему сердцу на опасное расстояние. Он, конечно, по-прежнему не верил в то, что Бог — это любовь, он давно привык к тому, что все сводится к нему, Илье Абаринову, все — и добро, и зло, и любовь, и ненависть. Но в те минуты, когда она прижималась к нему горячим своим детским телом, он вдруг подумал: может быть. Может быть, свет не погас. Может быть, еще что-то осталось, какие-то угольки под пеплом. Может быть, этот непомерный груз — добро, зло, любовь, ненависть — можно разделить на двоих, может быть, душа бессмертна, может быть, свет жив...

Вот это «может быть» его и сгубило. Он дал слабину, и наказание последовало незамедлительно. Он наказан за «может быть». Возможно, Бог зачтет ему это «может быть», но дьявол-то возьмет верх. Как всегда.

Дьявол всегда побеждает, пользуясь слабостью Господина Может Быть.

Что ж, ему остается выпрямиться и ждать, и он выпрямился и стал ждать, последний защитник крепости, старый, обоссавшийся, больной, ни на что не надеющийся, ни во что не верящий, невозмутимый, готовый к забвению, стал ждать, когда огонь сначала разгонит тьму, а потом сожрет и испепелит старого дурака, Господина Может Быть, допустившего ошибку, и вдруг старик с изумлением понял, что ничуть не жалеет об этой ошибке, не жалеет о том, что она привела к тому, что он сидит тут, обоссавшийся и больной, прибитый гвоздями к столу, и ждет смерти, потому что те минуты, когда она прижималась к нему своим детским горячим телом, обнимая его руками за шею, и были правдой, а все остальное ложью, все было ложью — и ее похоть, и эти гвозди, и огонь, уже прорвавшийся в комнату и подбиравшийся к босым ногам, понял, что его ошибка и была смыслом и центром жизни, что его ошибка и была Богом, а все остальное — неправдой, и эта властительная мысль захватила его целиком, захватила с такой силой, что старик даже не заметил смерти...

Пиджак Семеныч

Когда сердце жены перестало биться, Андрей Семенович Хохлов поцеловал ее сначала в правый глаз, потом в левый, потом снова в левый, вышел из палаты и попросил врачей и медсестер хотя бы десять-пятнадцать минут не беспокоить Лидию Петровну:

— Дайте ей побыть одной, она всю жизнь об этом мечтала, но не получалось. Это не против правил?

В строгом сером костюме-тройке, застегнутом на все пуговицы, невозмутимый, с благожелательной улыбкой на гладко выбритом лице, он казался воплощением спокойствия и здравомыслия.

Заведующая онкологическим отделением — крупная дама с седым ежиком на голове и ярко-красными клипсами до плеч — внимательно посмотрела на него и кивнула:

— Хорошо.

Хохлов поблагодарил, сел в машину и уехал домой, где его ждали сыновья и дочь. Ужин прошел в молчании. Когда старший сын спросил, надо ли приглашать на похороны оркестр, Андрей Семенович сказал:

— Нет, слишком шумно.

После ужина дочь заговорила о том, что отцу в такой день негоже оставаться одному, но Андрей Семенович сказал, что именно сегодня нуждается в одиночестве.

Проводив детей, он заперся в спальне, достал из обувной коробки толстую тетрадь и принялся рвать и жечь бумагу. Ему не хотелось, чтобы сыновья и дочь узнали о том, что у их матери был любовник. Он был всегда откровенен с детьми, но было в жизни что-то, о чем стыдно говорить вслух, и он об этом не говорил. Не стал говорить и на этот раз.

Лидия Петровна, женщина эмоциональная да вдобавок учительница русского языка и литературы, до самой смерти сочинявшая стихи, называла мужа «благородным воплощением нормы», той нормы, которая требует от человека твердости, стойкости, а подчас даже бесстрашия, той нормы, которая — и только она — позволяет человеку отличать добро от зла.

Андрей Семенович считал свою работу в военной прокуратуре такой же рутинной, как у сантехника, починяющего унитаза, или у Бога, заставляющего солнце вставать на востоке.

Был он человеком малоразговорчивым. После возвращения из Афганистана, где он был дважды ранен и награжден орденом Красной Звезды, его все спрашивали: «Ну что там? Как там?» И на все эти вопросы Андрей Семенович отвечал одинаково: «Жарко».

Он был из тех людей, которые если говорят «да», то это значит «да», а если говорят «нет», то готовы от-

вечать за свое «нет» хоть на Страшном суде. Об этом знали и коллеги, и начальство, а потому Андрея Семеновича и не втягивали в сомнительные дела. Он не сделал блестящей карьеры, но не запятнал репутации и дослужился до полковника юстиции.

Один из коллег, Артамонов, известный в прокуратуре весельчак и остролов, постоянно подшучивал над Хохловым, говорил, что Андрей Семенович — человек, родившийся в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, и даже спящий в пиджаке, застегнутом на все пуговицы. Коллеги в шутку звали Хохлова Пиджаком Семенычем.

Был он невысоким крепышом с рябоватым лицом и седым ежиком на круглой голове, а Лидия Петровна — малокровной худышкой с детскими ногами, рыжеватой и близорукой.

Жизнь их была, в общем, заурядной: рождение детей, получение новой квартиры, цветы по праздникам, замена черно-белого телевизора на цветной, размолвки, примирения, покупка «жигуленка», потом «опеля», отдых в Анапе или Евпатории по профсоюзной путевке, книги — много книг. Андрей Семенович любил Честертона, Лидия Петровна — Блока. В воскресенье за ужином он выпивал рюмку водки, она — бокал красного. Сын-инженер называл их отношения «далеко зашедшей диффузией металлов».

За день до смерти жены Андрей Семенович наткнулся на ее дневник, в котором та признавалась в любви к некоему Сергею, Сереже, вспоминала их встречи, перебирая детали, иногда впадая в напыщенность, иногда в слезли-

вость. Поначалу он подумал, что Лидия Петровна все это выдумала — и эту «счастливую дрожь нутра», и «лучистые глаза», и «пьянящую сперму», и «триста тридцать три тысячи жутких поцелуев», но некоторые детали убедили его в том, что это не вымысел. Эта ее внезапная страсть к кружевному нижнему белью смелых фасонов, к тяжелым маслянистым ароматам, к экспериментам в постели — тогда он отнесся с пониманием и сочувствием к неловким попыткам жены вернуть молодость. Она вдруг начала курить, читать Теренса Пратчетта и называть мужа «милым». Оказывается, она жила двойной жизнью, у нее был семнадцатилетний любовник, они спаривались на полу в гостиной, пока Андрей Семенович пропадал в командировках, а когда он возвращался домой, встречала мужа как ни в чем не бывало, и он ничего не подозревал...

Сидя у постели умирающей жены, он держал ее руку в своей и пытался понять, что же он чувствует. Неверная жена, обманутое доверие, слепой муж — все это такая горькая пошлость. Он не испытывал ни обиды, ни растерянности, ни гнева, словно отупев от боли.

Он смотрел на осунувшееся лицо Лидии Петровны, оглушенной морфием, и чувствовал жалость, только жалость. Но когда оставался наедине с собой, из каких-то неожиданных щелей души начинало подниматься что-то омерзительное, огромное, темное, пытаясь захватить его целиком и пугая своей безжалостной безымянностью.

Однажды ночью Андрей Семенович вспомнил, как в детстве на его глазах поезд сошел с рельсов и с надрывным скрежетом, визгом и треском, с хрустом круша

шпалы, взрывая щебень и песок, пополз с насыпи, и он тогда бросился наутек, не разбирая дороги, ничего не слыша и не видя, и вдруг проснулся, вскочил, замер посреди темной спальни, весь потный, дрожащий, задыхающийся, мычащий, а утром долго стоял под душем, и весь день чувствовал себя разбитым, на ночь выпил водки, но сон повторился, и повторялся с той поры почти каждую ночь...

На похоронах он мучился тем, что не может сосредоточиться на чем-то важном, может быть, на главном, на том, о чем следует думать в церкви и на кладбище, а думает о дневнике жены и неразношенных туфлях, которые дернул его черт надеть именно в такой день. На поминках он мучился тем, что не может отвести взгляда от пышной груди дальней родственницы, надевшей платье со слишком глубоким вырезом. Ногти у священника были аккуратно подстрижены и покрыты бесцветным лаком, и это тоже мучило Андрея Семеновича, потому что в такой день стыдно обращать внимание на чужие ногти.

Стояла хорошая погода, и после поминок Андрей Семенович решил прогуляться.

Сын довез его по Садовому до Каретного Ряда, и Хохлов неспешным шагом дошел до Пушкинской площади, выпил кофе на Тверской и выкурил сигарету.

Он старался не думать о дневнике Лидии Петровны, а особенно о том, что чувствует сейчас, потому что не умел и не любил копаться в своей душе. Он не страдал нравственным косоглазием — так его любимый Честертон называл склонность человека смотреть в себя, а не на

мир, и с удовольствием любовался стройными ножками молодых женщин, бежавших мимо за его спиной и отражавшихся в витрине книжного магазина.

У памятника Юрию Долгорукому он обратил внимание на девочку лет шестнадцати-семнадцати, которая собирала подаяние в толпе. Она была похожа на китаянку или кореянку, красива детской глуповатой милой красотой, в платке, надвинутом на лоб, в тесных джинсах, старой куртке, с рюкзаком за спиной, и при ходьбе припадала на левую ногу. В руках она держала картонку с надписью «Подайте на операцию», медицинскую справку, завернутую в пленку, и полиэтиленовый пакет для подаяний. Никто не подавал. Вскоре она спрятала картонку в пакет, убрала пакет в рюкзак, купила мороженое и побрела вниз, к Манежной, уже не припадая на левую ногу. Несколько минут постояла на углу Охотного Ряда, глядя на Кремль, потом спустилась в метро.

Андрей Семенович потерял девочку из виду у касс, снова увидел ее внизу, на платформе, в окружении полицейских. Один из них вертел в руках медицинскую справку.

— Гипоплазия тазобедренного сустава, — сказал он, возвращая ей справку. — Значит, хромаешь... ну хромай дальше, только не побирайся...

— А сустав у нее ничего, — сказал другой полицейский, провожая взглядом девочку, которая удалялась, ловко прихрамывая. — Очень даже ничего...

Хохлов прибавил шаг, поймал девочку за рукав.

Она вжала голову в плечи, обернулась.

— Не бойся, — сказал Андрей Семенович. — Как тебя зовут?

— Ну Лиза, — ответила она. — А тебе что?

— Пойдешь со мной, Лиза? Не бойся...

— А я и не боюсь.

— Ко мне пойдешь? Ты же, наверное, голодная?

— Ничего я не голодная, — сказала она. — Ну ладно.

Сколько?

— Что сколько?

— Сколько дашь? Тыщу дашь?

— Тыщу... — Андрей Семенович достал из бумажника пятисотрублевую купюру. — Остальное потом, хорошо?

— Ладно, — сказала она, пряча купюру за пазуху. — Только без орала. Анал сколько хочешь, а орал — нет. Меня с него рвет.

— Орал?

— У меня рот маленький, — сказала она. — Мелкий.

— А-а... нет, просто пойдём... дай руку...

— Руку еще зачем?

— Не хочешь — не надо...

— Ну ладно. — Она взяла его за руку. — Теперь доволен?

— Хорошо, — сказал Андрей Семенович. — Молодец.

Наверху он поймал такси.

Они сели сзади и всю дорогу держались за руки.

Лиза искоса поглядывала на Хохлова, покусывая губу и морща лоб. Рука ее потела и подрагивала. Андрей Се-

менович, взволнованный, с красным лицом, глубоко дышал, втягивая ноздрями запах ее тела, но ни разу на нее не взглянул.

В супермаркете, занимавшем весь первый этаж жилого дома, он купил водки, вина, сыра, ветчины, хлеба, лимонада и несколько шоколадок. Он тыкал пальцем в шоколадку — она кивала, и он покупал.

В прихожей она ловко скинула растоптанные туфельки, сняла рюкзак, прошла в гостиную, села на диван, подпрыгнула.

— Класс, — сказала она. — Это твоя квартира?

— Да.

— А жена где?

— Нету жены. Сегодня похоронил.

Она встала, подошла к комоду, на котором стояла фотография — Андрей Семенович в мундире об руку с Лидией Петровной.

— Ты военный, что ли?

— Вроде того.

— Ну ладно, а где здесь помыться можно?

— Там. Дверь справа.

Он порезал мясо, сыр, хлеб, открыл водку и вино, достал ножи и вилки из праздничного набора.

— Круто, — сказала она.

Андрей Семенович обернулся.

Она стояла в дверном проеме, завернувшись в полотенце, с мокрыми кудрявыми волосами, достававшими до плеч, босая — лак на ногтях ног кое-где облупился.

— Там халат висит, — сказал он. — Я сейчас...

В ванной он обнаружил на полотенцесушителе ее постиранные трусы и лифчик. Трусы были заношенные, а крюпочки на лифчике разные — один белый, другой черный.

Он вернулся в кухню с махровым халатом. Лиза сбросила полотенце и, стоя к нему спиной, надела халат. Кожа у нее была смуглая, ложбинка на спине покрыта нежным пушком, на ягодице красовалась татуировка в виде дельфина.

— Тебе вина? — спросил он. — Да ты садись, садись...

— Не, вино я не пью, лучше водки.

Он разлил водку по хрустальным рюмкам.

— Ну, за знакомство!

Выпили.

Лиза взяла руками несколько ломтей ветчины и сыра, сложила, свернула трубочкой, откусила.

— Сама-то откуда? — спросил Андрей Семенович. — Откуда приехала?

— Я-то? Из Данкова.

— Данков... это где-то под Липецком?

— Ага, где-то. — Вытерла руки о полотенце. — Наливай, что ли.

Выпили.

— А ты любил жену? — спросила Лиза.

— Не знаю, — сказал Андрей Семенович. — Любовь — это для детей, а взрослые просто живут...

— Не, — сказала Лиза, — без любви нельзя. Без любви дети рождаются некрасивыми.

— Я об этом не думал, — сказал Андрей Семенович. — Я всю жизнь жил готовыми делами, которые не я придумал. Другие придумали, а я только исполнял. Привык. Наверное, мне нельзя думать обо всем этом... душа, любовь, смысл жизни — мне об этом думать противопоказано. Пытался — не получается. Я даже не понимаю, что чувствую. Вот жена умерла — это горе, а я не чувствую. Перед самой ее смертью узнал, что она мне изменяла... это же обидно, оскорбительно, унижительно — а я не чувствую... она лежит в палате без сознания, и мне ее жалко, и мне стыдно, и все, ничего больше не чувствую... почему мне стыдно, если стыдно должно быть ей, — не понимаю... наверное, потому, что она уже не могла ничего чувствовать, а я еще мог, вот мне и было стыдно... попробовал о душе думать, заглянул в нее, а она вся загромождена каким-то хламом... какие-то стулья, книги, занавески, кредит на машину — и ничего своего...

— А у тебя и машина есть?

— Есть. «Опель».

— А я «мерседес» люблю, — сказала Лиза. — Красивая машина «мерседес».

— Нет, — сказал Андрей Семенович, — мне это противопоказано. У меня непереносимость лактозы, нельзя ничего молочного, даже сыра нельзя, вот так и с этими делами, с душой и любовью... противопоказано...

— Как тебя зовут?

Он усмехнулся.

— Олег.

— Не, — сказала Лиза. — Какой ты Олег? Олег высокий, блондинистый, а ты — ты настоящий Николай. Или Мишка.

— Андрей я, — сказал Хохлов. — Андрей Семеныч. А друзья дразнят Пиджаком. Пиджак Семеныч.

— Пиджаки любишь? — Лиза рассмеялась. — Пиджак Семеныч! Ну надо же!

Она села к нему на колени, обняла за шею.

— Не плачь, Пиджак Семеныч, а то я тоже сейчас разревусь.

— Я не плачу, — сказал Хохлов, — я людей убивал и не плакал... мне это противопоказано...

— На войне убивал, что ли? — Она зевнула. — На войне все убивают. Может, пойдем уже?

Они выпили по рюмке и отправились в спальню.

Лиза сбросила халат и залезла под одеяло. Андрей Семенович снял пиджак, рубашку, брюки, носки, сложил на стуле и лег рядом с ней.

Лиза хихикнула.

— Ты чего, так и будешь лежать? Ты меня потрогай, что ли. Дай-ка руку-то... — Положила его руку на свой живот. — Если не хочешь, тогда спи, что ли... тогда давай поцелуемся — и спать...

Он поцеловал ее — она ответила, прижалась к нему животом.

— Может, снимешь трусы-то? — прошептала она. — Трусы, говорю,ними...

Он снял трусы и выключил ночник.

Потом он принес вино, они выпили, закурили, Лиза стала рассказывать о себе, а Андрей Семенович лежал на спине и молчал. Он слишком поздно стал думать о том, против чего у других людей с юности вырабатывается иммунитет, и понимание трагизма жизни и неразрешимости этого трагизма входили в их жизнь естественным или, во всяком случае, привычным образом, как намозоленная шея в хомут, а он ко всему этому просто не привык, и теперь у него появились чувства, которых он никогда по-настоящему не знал, хотя и много читал, и включилось дремавшее всю жизнь воображение, и он растерялся, не понимая, что с этим делать.

И что делать с этой девочкой — этого он тоже не знал. Не понимал, чем она его вдруг привлекла, почему он привел ее к себе и занялся с нею любовью, ведь с ним никогда такого не случалось, все это было внове, и он не мог справиться с этой новизной. Новизна всегда была для него новыми покупками, новыми знакомствами или новыми могилами, а эта новая новизна была чем-то пугающим, страшным, грозным, потому что была она совершенно непонятной и постыдной...

Он курил и слушал Лизу, которая рассказывала о какой-то «мамке», следившей за тем, чтобы девочки вовремя сдавали выручку — пятьсот рублей, а все, что сверх, они оставляли себе, а пятьсот рублей каждый день вынь да положь, поди-ка их заработай, когда все москвичи такие жадные, вот и ходишь целыми днями по метро, из вагона в вагон, и все без толку, а вечером возвращаешься в квартиру, где живут еще шесть девочек, съешь

стакан доширака, выпьешь пивка, помотришь телик, потом придет Дауд, проверит, все ли дома, все ли в порядке, и, может, ляжет с кем-нибудь, с какой-нибудь полусонной девчонкой, привычно раздвигающей ноги и думающей о салоне красоты, куда она устроится работать, как только поднакопит денег, а потом они засыпают, спят вповалку на полу, натянув одеяла до ушей, молодые, глупые, жадные, некрасивые, никому не нужные и нелюбимые, нет, нелюбимые...

Андрей Семенович вдруг встрепенулся, прижался к девочке, крепко ее обнял и сказал:

— Оставайся со мной, Лиза. У меня скоро отпуск, поедем в Египет, там теплое море, будешь купаться, загорать, все забудем... оставайся...

Лиза помолчала, потом по-бабьи вздохнула и сказала:

— Ну ладно, Пиджак, уговорил, только не обижайся — рот у меня мелкий...

Утром они опохмелились холодной водкой, потому что оба чувствовали себя нехорошо. Съели яичницу с колбасой, снова выпили, отправились в постель, занялись любовью, заснули, а когда проснулись, Андрей Семенович опять спросил у Лизы, останется ли она с ним.

— Ты упрямый, — сказала Лиза. — Тогда надо паспорт у Дауда забрать, мой паспорт у него. А ты правда в Египет отвезешь? Без балды?

— Без балды, — сказал он. — Значит, у тебя и загранпаспорта нету? Ничего, сделаем.

Пока она принимала душ, он прикидывал, что делать. Привлечь полицию нельзя, это он понимал, а значит,

придется действовать в одиночку. Угрозами ничего не добьешься, в таком бизнесе крутятся тертые люди, средство одно — деньги. Он был готов отдать все свои сбережения, но думал, что обойдется ста тысячами рублей. Ну двумястами тысячами.

Андрей Семенович побрился, тщательно оделся, взял из сейфа триста тысяч рублей в банковской упаковке, проверил, заряжен ли пистолет, выпил рюмку водки, сунул в карман фляжку, вызвал такси.

Лиза жила неподалеку от «Братиславской» в старом девятиэтажном доме с потеками смолы на фасаде.

— Ты с ними сам говори, — сказала Лиза. — Меня они слушать не будут.

Выйдя из лифта, она свернула направо, а Андрею Семеновичу пальцем указала на дверь слева.

— Они там все. Мы тут, а они там.

— Много их?

— Двое. Братья они, двое.

И скрылась за дверью.

Андрей Семенович глотнул из фляжки, позвонил.

Дверь открыл молодой мужчина лет тридцати.

— Вы Дауд?

— А что надо?

— Я насчет Лизы... девушка у вас тут живет...

— Какой Лизы? Нету тут никакой Лизы.

Он попытался закрыть дверь, но Хохлов успел вставить ногу в щель.

— Да погодите же! Я заплачу! У меня деньги с собой...

— Ты кто такой? — повисил голос мужчины. — Какие деньги? Дауд! — крикнул он в глубину квартиры. — Дауд, тут какой-то мужик...

— Так вы не Дауд? — Андрей Семенович опустил руку в карман, сжал рукоятку пистолета. — Что ж вы мне тогда голову морочите, а? — Его затрясло от гнева. — А ну пусти!

Мужчина отпустил дверь, отпрыгнул, схватил бейсбольную биту, стоявшую под вешалкой, но Андрей Семенович выстрелил ему в живот, перешагнув через тело, выстрелил в маленького толстяка, бросившегося ему навстречу из кухни, ногой открыл дверь в гостиную, прыгнул — пуля прошла выше — и дважды выстрелил в огромного детину с обрезом в руках, потом в женщину, которая попыталась ударить его палкой, потом в другую женщину, прижимавшуюся к стене, потом в визжащую девушку, закрывавшую глаза руками, потом сел на стул, положил пистолет на стол, покрытый красной плюшевой скатертью, повернулся к Лизе, вбежавшей в гостиную, но она даже не взглянула на него — бросилась в соседнюю комнату, через минуту вышла с полиэтиленовым пакетом.

— Паспорт забрала, — сказала она с радостью. — Ну пошли, что ли?

— Куда пошли? — не понял он.

— Ты ж говорил, Египет... паспорт я у них свой забрала, теперь можно...

— Лиза, тут люди...

Она пожала плечами.

— Везде люди.

— Надо полицию вызвать...

— Ну как хочешь.

Она ушла, перешагнув через труп в прихожей и оставив дверь открытой.

Андрей Семенович слышал, как побирушки и проститутки из квартиры напротив, переругиваясь злым шепотом, вытаскивали вещи на лестничную площадку и бежали вниз, как стучали колесики их чемоданов по ступенькам, но это происходило в другом, прежнем мире, который не имел никакого отношения к его новому миру. Он еще не понимал, что тут произошло, почему он убил всех этих людей, но теперь наконец ему стало легче, он успокоился, хотя правая рука все еще подрагивала...

Бедные дети

Голый мужчина висел на дереве головой вниз. Руки его были связаны за спиной, а ноги обмотаны веревкой, конец которой был прикреплен к толстому суку метрах в трех над землей. Он висел неподвижно, как мертвый, с головы до ног облепленный беснующимися муравьями, но когда Ольга приблизилась к сосне, дернулся и замычал — утробно, жалобно, не открывая глаз. Ольга подкатила к сосне чурбак, валявшийся у догоревшего костра, достала из кармана куртки складной нож, поднялась на цыпочки и перерезала веревку.

Мужчина упал головой в муравейник, перевернулся на живот и, извиваясь всем телом, пополз в сторону костра. Огромный, голый, весь в муравьях, весь исцарапанный, с закрытыми глазами, он изгибался, упирался коленями в землю и рывками продвигался к костру, мыча и громко сопя. Ольга поставила ногу на его спину — он замер. При помощи ножа она освободила его ноги, потом руки. Мужчина сел, и только тогда Ольга поняла, что во рту у него яблоко. Большое яблоко.

— Тихо, — сказала она. — Не дергайся.

Опустилась на колени и стала кончиком лезвия выковыривать яблоко изо рта. На это ушло минут десять-пятнадцать — Ольга боялась порезать мужчину. Наконец он с силой свел челюсти, раздавил остатки яблока, выплюнул, без сил повалился на траву и замер, тяжело дыша и вздрагивая.

Ольга села на бревно у костра, закурила.

Она засхала сюда, чтобы справить нужду. Время было раннее, едва рассвело, и она не ожидала встретить здесь людей. Забралась в густой орешник, присела и увидела мужчину, висевшего на дереве вниз головой. Обошла полянку по кругу, то и дело замирая и прислушиваясь, а когда убедилась, что поблизости никого нет, вышла на открытое место. Потом сняла мужчину с дерева, освободила его от веревок, выковыряла из его рта яблоко, и теперь думала, что делать дальше. Мужчина был молод, атлетически сложен, гол и беспомощен. Пока беспомощен. Доброго человека не повесят на дереве головой вниз. Значит, он опасен. А у нее против него — только складной нож в кармане. В машине под сиденьем был спрятан пистолет, но до машины метров сто, не меньше.

Мужчина внезапно сел, вырвал с корнем пучок травы и стал обтираться, стряхивая с себя муравьев, потом поднял голову, улыбнулся и сказал:

— Сандро. Так меня зовут — Сандро.

Ольга не удержалась — улыбнулась в ответ.

— Не бойся, — сказал Сандро. — Я сам тебя боюсь.

— И за что тебя, Сандро? — спросила Ольга.

— А я у них бабки стырил, — сказал он. — И попался.

И расхохотался, широко открывая рот с белыми ровными зубами.

Смеялся он заразительно.

— Ладно. — Ольга встала. — Посиди пока тут.

Она принесла брезентовый плащ с капюшоном и резиновые сапоги, которые возила с собой на всякий случай, помогла Сандро дойти до машины, отвезла домой, отправила в ванную, приготовила на скорую руку обед, поставила на стол бутылку водки, приняла душ, бегом вернулась в спальню, скинула халат, полезла в шкаф за бельем, выпрямилась и замерла, когда Сандро прижался к ней сзади и взял руками ее за груди.

— Быстрый какой, — сказала она. — Слишком быстрый.

— Как тебя зовут?

— Я тебе вы, а не ты.

— На вы я не умею, — прошептал он ей в ухо. — А на ты — еще как...

— Ольга. — Она повернулась к нему, обняла за шею. — Ольгой меня зовут...

Ольгина бабушка девчонкой сбежала с братьями-близнецами, служившими в цирке: одного мужчины ей было мало. Лет через пять она вернулась домой — босая, загорелая, вся в татуировках, с трубкой в зубах и с огромным дырявым чемоданом, в котором спала ее трехлетняя дочь в костюме обезьянки. Мужчин бабушка меняла чаще, чем чистила зубы. Она работала продавщицей в

табачной лавке, гнала самогон и пела хриплым голосом под гитару цыганские романсы, а умерла, не достигнув тридцати, — пьяная замерзла в сугробе.

Ее дочь Ксения жила по дальним родственникам, нигде подолгу не задерживаясь: женщины не могли простить ей ее запаха, сводившего мужчин с ума, и норовили поскорее избавиться от шалавистой девчонки. После школы она устроилась продавщицей в табачный магазинчик, трижды побывала замужем, но когда ее поразил рак, мужчин ей пришлось заманивать дармовым самогоном.

Одноклассники смеялись над ее бабушкой и матерью. Ольга слушала их, сцепив зубы. Она не была ни красавицей, ни уродиной, не отличалась выдающейся внешностью, училась средне, держалась в тени. Поступила в институт советской торговли, вышла замуж за литовца, потом за украинца, но когда пришло время получать диплом, была разведена. У нее было право выбора при распределении, и она вернулась в родной городок — не хотела, не могла оставить в своем прошлом неперева-ренными, переработанными презрительные взгляды соседей, пьяную бабушкину гитару, мать-самогонщицу, нищету, отчаяние.

Начинала экономистом в горторге, через год стала заместителем директора, еще через полгода — директором, депутатом горсовета. К тому времени у нее была своя квартира, служебная машина и любовник — второй секретарь горкома партии Сергей Изуверов, который вскоре похоронил жену и женился на Ольге. Через два

года у них родилась дочь. Муж вовремя ушел из горкома и возглавил крупнейшую в городе строительную организацию.

Наверное, это были самые счастливые годы ее жизни. Большая страна развалилась, цены росли, торговля упала, строительство замерло, бандитов стало больше, чем нищих, — а Ольга была счастлива. Закрывала одни магазины, открывала другие, добывала товар подешевле — хорошо шли куриные головы, обрезки красной рыбы и полуфабрикаты, нанимала одних бандитов, чтобы они воювали с другими, сражалась с конкурентами, несколько раз ее пытались убить, пришлось научиться стрелять из пистолета, раздобытого где-то мужем, но чувствовала она себя так, словно в жилах ее кипел чистый яд — будоражащий, опасный, веселый. По выходным всей семьей выезжали на лесное озеро, которое находилось километрах в трех от города. Купались, загорали, Сергей открывал бутылку вина, закусывали яблоками и помидорами.

В конце девяностых построили двухэтажный дом на берегу озера — под черепичной крышей, с балконами и галереями, с соснами и березами в ограде. Ограду на всякий случай сделали четырехметровой, украсив ее поверху колючей проволокой «егоза».

Вскоре рядом выросли дома других богатых людей — мэра, прокурора, судьи, главного санитарного врача, главного архитектора, начальника полиции, избранных бизнесменов...

Однажды утром Сергей Изуверов не проснулся — остановилось сердце.

Его похоронили в субботу, а в понедельник Ольга, как всегда, в шесть утра плавала в бассейне, потом позавтракала и отправилась в свою контору. В конце недели съездила в Москву, показала стоматологу, часа три провела в салоне красоты, прошла по магазинам, вечером вернулась домой, поставила в вазу розы, выпила коньяку и заплакала — впервые заплакала, даже на похоронах не плакала, а тут заплакала.

Через несколько лет она стала втрое богаче и вознеслась так высоко, что человека в ней разглядеть уже никто был не в состоянии. Сотни ее людей строили и ремонтировали ее дома, ее магазины, ее офисы, ее дороги, делали ее кирпич, ее бетон и ее асфальт, торговали ее товаром, охраняли, крутили баранку, получали зарплату, приворожывали, пили водку, увольнялись, освобождая место другим, поругивали хозяйку, и ни один из них не удивился бы, попав в ее кабинет и увидев за столом огромного паука или причастие прошедшего времени, а только сказал бы: «Да, это она, Ольга Изуверова, аминь».

Вдовый начальник полиции Дмитрий Иванович Потехин, мечтавший объединить свои бензоколонки и автомастерские с ее бизнесом, трижды делал Ольге предложение, но она отказывала ему, предпочитая случайные связи браку по расчету. Ольга хотела любви.

По вечерам она смотрела запись «Рабыни Изауры» серию за серией и шмыгала носом. Ей хотелось, чтобы мужчина каждый день подносил ей розу, встав на колени и прижав руку к груди. Чтобы этот мужчина был красив, высок и молод. Чтобы каждая его мощная мышца чет-

ко рисовалась на теле, как у бодибилдера из журнала. И чтобы по вечерам они ужинали на террасе с видом на море, а на столе в стеклянном сосуде горела свеча. Чтоб, наконец, сбылись ее детские мечты, в которых она мстила всему миру за бабушкину пьяную гитару, за мать-самогонщицу и утирала нос всем, кого считали красавицами, и тем, кто не обращал внимания на заурядную Ольгу...

Благодаря уму, чутью, упорству и стойкости она преодолела множество препятствий, построила успешный бизнес, стала самой богатой женщиной в городе, но главного добилась только сейчас, в сорок восемь лет: она привела в дом мужчину своей мечты. Он был необычайно красив — таких красавцев сроду не бывало в ее постели. Такие жили в глянцевах журналах, где рекламировали самую дорогую одежду, парфюм и автомобили, они жили в кино, в музеях и картинных галереях, в мечтах наконец, но в жизни такие ей не встречались ни разу. Ни в Москве, ни в родном городке. Высокий, широкоплечий, мускулистый, длинноногий. Мужественный, но с примесью чего-то девичьего, милого, мягкого. Утонченность гармонично сочеталась в нем с брутальностью. Взгляд, поворот головы, движение руки — каждое его движение отзывалось в ее душе волнением. Существо из иного мира, пришелец, дивное диво — прекрасное и опасное. Дружки-уголовники раздели его догола и подвесили за ноги на дереве, как собаку. Преступники — такие же, как он. Вор, насильник, убийца. Нет, думала Ольга: такой красивый мужчина не может быть воришкой, который шарит по

чужим карманам. Он, конечно же, убийца. И не просто убийца, думала она: его жертвой может быть только исключительный человек — президент России или Филипп Киркоров, не меньше. При этой мысли на глазах у нее выступили слезы счастья...

Ольга предупредила подчиненных, чтобы в пятницу, субботу и воскресенье никто ее не беспокоил, соврала дочери о поездке в Москву, дала домработнице отпуск до понедельника, заказала доставку на дом цветов, вина и еды.

Эти три дня они провели вместе, Ольга и Сандро. По вечерам они ужинали на террасе с видом на озеро, и на столе в стеклянном сосуде горела свеча.

Ольга чувствовала, что в ее жилах снова кипит чистый яд, будоражащий, опасный и веселый, и была счастлива. Ей удалось все. Она заставила заткнуться тех, кто смеялся над ее бабушкой и матерью. Она стала богатой — собак кормила докторской колбасой. Она спала с самым красивым в мире мужчиной.

Оставалось решить, как быть дальше.

Сандро клялся, что он не в розыске. Но у него не было документов. Никаких. А значит, придется обращаться за помощью к начальнику полиции Потехину. Дмитрий Иванович всегда хотел иметь долю в Ольгином бизнесе, и сейчас, похоже, наступил тот момент, когда ей придется пойти ему навстречу. Она трижды отказывалась выйти за него замуж — не хотелось бы, чтобы он вспомнил об этом именно сейчас, когда Сандро нужен паспорт не только обычный, но и заграничный.

Это был следующий пункт ее плана — поездка за границу. Ольга решила на месяц-другой отойти от дел и съездить с Сандро в Испанию или Италию. Море, солнце, вино, любовь — и никаких мыслей об окружной дороге, которую строила ее компания, и о ее магазинах, торгующих куриными головами...

— Но пока я буду заниматься твоими документами, — сказала она в понедельник за завтраком, — тебе придется посидеть здесь, дома. Через час придет Марина, домработница, скажешь, что ты мой племянник из Киева. Двоюродный племянник. Болтай при ней поменьше. Она девчонка хоть и своя, но слишком любопытная.

— А ты? — спросил Сандро, глядя на Ольгу жалобно. — Тебя долго не будет?

— До вечера. Ну не обижайся, сделаю все дела — и уедем отсюда к черту...

Зазвонил телефон.

Ольга посмотрела на часы — половина девятого — и взяла трубку.

Звонила дочь.

— Ма, Игоря привезли...

— А что так рано?

— Дмитрий Иваныч привез...

Ольга нахмурилась.

— Сейчас приду.

Взяла сумочку, приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать Сандро, с улыбкой погрозила ему пальцем.

Год назад Ольга построила рядом со своим дом для дочери. Это был свадебный подарок — Алиса только что

вышла за Игоря. Зять был неглупым и хватким парнем, в тещиной компании занимался строительством. Но семь месяцев назад он попал в аварию. С той поры его возили из больницы в больницу — все без толку: Игорь по-прежнему видел лишь одним глазом, мочился под себя и мог пошевелить только тремя пальцами на правой руке. Врачи ничего хорошего не обещали, и в конце концов на семейном совете было решено вернуть Игоря домой.

Рядом с Алисой то и дело возникал полковник Потехин, сосед по дачному поселку. Ольга понимала, что у Дмитрия Ивановича на уме, но уж лучше он, чем какой-нибудь случайный красавчик, который промотает деньги Алисы. Длинноногая, грудастенькая, жопастенькая, но глуповатенькая, дочь с трудом окончила платное отделение медицинского, ни дня не работала в больнице и больше всего на свете любила бродить по магазинам, выбирая новые юбки, духи или туфли. Лежачий муж, требующий постоянного присмотра, уколы, таблетки, капельницы, кал и моча — все это, конечно, не для нее. Придется нанять сиделку, а дальше — дальше что Бог даст...

Ольга нашла Алису в кухне.

Дочь пила кофе, хныкала, Потехин утешал ее, похлопывая по руке.

Начальник полиции был коренастым мощным мужчиной с брюшком, лысиной и выпяченной нижней губой, из-за которой в городе его называли Муссолини или Дуче. Раньше его бизнесом занималась жена, а после ее смерти — старшая дочь, вздорная и неумная толстуха, которая была замужем за смиренным пьяницей, боявшимся

и жены, и тестя. Но на самом деле, конечно, все дела вел сам Дмитрий Иванович.

— Нужна медсестра, — сказала Ольга, кивком поблагодарив Потехина за кофе. — А где Нина Федоровна?

Нина Федоровна убирала в доме дочери, готовила еду и стирала белье.

— У нее кто-то умер, — сказала дочь, всхлипнув.

Ольга поморщилась.

— Возьми себя в руки, милая моя, — сказал Потехин.

— Я тебе Марину пришлю, — сказала Ольга. — Пока Нины Федоровны нет, она тут тебе поможет. Приберет, приготовит...

— Есть у меня одна медсестра, — сказал Потехин. — Правда, узбечка и берет недешево, но хорошая медсестра.

— Недешево — это сколько? — спросила Ольга.

— Надо с ней самой поговорить, милая моя, — сказал Потехин.

Потом они пошли в комнату, где был устроен Игорь. Ольга велела подвинуть его кровать ближе к окну, послала дочь за полотенцами и салфетками, а Потехина попросила вынести вон цветы.

— Здесь нужен диван, — сказала она, когда Потехин вернулся. — Диван для медсестры.

Позвонила Марине, но та не ответила. Ольга нахмурилась. На часах было девять, домработница давно должна была прийти. Наверное, пришла и теперь строит глазки Сандро. Марине семнадцать, она хорошенькая и вертялая, и кто знает, что там сейчас между ними...

— Дмитрий Иванович, ты поговори с этой узбечкой, а я сейчас Марину сюда подгоню. Здесь же все надо пропылесосить, полы вымыть... я ненадолго...

Она прошла через сад, толкнула калитку в заборе, отделявшем ее участок от участка дочери, и направилась к боковой двери, через которую в дом можно было войти незаметно. Отперла дверь, стараясь не шуметь, сняла туфли и босиком поднялась вверх. Проскользнула в гардеробную, прикинула к щелке в двери, услышав шаги, затаила дыхание.

— С твоей-то фигуркой, — сказал Сандро. — Давай, давай!

В руках у него было платье, в котором Ольга вечером была за ужином. Они ужинали при свечах, и Сандро сказал, что лучшая одежда для женщины — объятия любимого мужчины. У Ольги кружилась голова от счастья. А сейчас он хотел, чтобы это платье примерила Марина. Марина вышла на середину спальни — на ней были Ольгины кружевные трусы, дорогой французский лифчик и серьги с изумрудами, подарок покойного мужа, — взяла платье, надела, вскочила на кровать и подбоченилась.

— Класс, — сказал Сандро, — но лучшая одежда для женщины — объятия любимого мужчины.

— Че, прям здесь? — спросила Марина. — На ее кровати?

Сандро бросился к ней, повалил, зарычал, навалился, полез рукой под платье, Марина засмеялась, болтая ногами в воздухе и извиваясь всем телом...

Ольга вытерла ладонью слезы, размазав тушь по щекам, включила в гардеробной свет, взяла палку для выбивания ковров, стоявшую в углу, и открыла дверь.

Марина увидела ее первой, оттолкнула Сандро, закричала:

— Мишка! Она нас убьет! Убьет!

Сандро скатился набок, Марина поползла с кровати — Ольга успела ударить ее палкой по заднице.

— Теперь ты Мишка, да? Мишка, да? — закричала она. — А ну пошли вон, сукины дети! А ну вон отсюда к черту!

Сандро ловко выхватил у нее палку и ударил Ольгу по голове. Она замерла, и тогда он ударил еще раз — теперь изо всей силы, а когда она упала лицом на ковер, нанес несколько ударов по затылку. Отбросил палку, схватил Марину за руку, помог встать, встряхнул.

— Успокойся, — сказал он. — Быстро собирайся. Вещи, деньги, камни — все, что можно взять с собой. Ты меня слышишь? — Снова встряхнул Марину. — Надо сматываться отсюда. Собирайся. Одежду возьми, деньги...

— Я это платье хочу, — сказала Марина. — И туфли.

— Конечно, — сказал Сандро. — Молодец, Мариночка, молодец. Собирайся, надо уходить. Главное — деньги не забудь. Слышишь? Деньги!

Пока Марина собирала вещи и искала деньги, Сандро снял с пальцев Ольги кольца, вырвал из ушей серьги, обшарил спальню, встряхнул из шкатулки цепочки, браслеты, рассовал по карманам, поднял с пола телефон, улыбнулся, кивнул, тоже сунул в карман.

Сумка, которую собрала Марина, оказалась слишком тяжелой. Сандро выкинул из нее зимние сапоги, хрустальную вазу, большую кошку из ляпис-лазури, которую Ольга привезла из Египта, взвесил сумку в руке, кивнул.

— А деньги?

— Это все, — сказала Марина, протягивая несколько купюр. — Пять тыщ. У нее ж все деньги в банке.

— Ну ладно, пошли.

Сандро выглянул из двери, осмотрелся, потянул Марину за собой.

Они бегом пересекли лужайку перед домом, свернули в заросли сирени в углу у забора, присели, переводя дух.

Внезапно в кармане у Сандро зазвонил телефон. Он вытащил телефон, нажал кнопку, но звонок раздался снова. Сандро зашипел, вжал телефон в землю.

— Вот вы где, милые мои, — сказал Потехин. — А ну-ка, выходите сюда, выходите...

Перепуганные Сандро и Марина вылезли из кустов и усталились на Потехина. В правой руке у него был пистолет, а в левой наручники.

— Иди-ка сюда. — Полковник поманил Марину, протянул ей наручники. — Надень на него. Просто надень и защелкни. А ты повернись!

Сандро повернулся, Марина надела на него наручники.

— Дядь Мить, — заныла она, — это все он, все он, дядь Мить...

— Я знаю, милая моя, знаю, — сказал Потехин участливо. — Ты неплохая девочка, наша девочка, ты моя бедная деточка... а вот он... откуда ты взялся, а? Кто такой?

— Дядь Мить... — начал было Сандро.

— Цыц, — прервал его Потехин, — для тебя я никакой не дядя Митя. Для нее — дядя Митя, а для тебя — гражданин полковник. Повтори!

— Гражданин полковник...

— А ты, милая... — Потехин мягко улыбнулся Марине. — Принеси-ка нам... чем вы там Ольгу Сергеевну? Бейсбольной битой, да?

— Это не я! — закричала Марина. — Это он! Он ее палкой! Дядь Мить, палкой! Насмерть!

— Ну-ну, — сказал Потехин. — Вот и принеси эту палку. Да быстро, Мариночка, одна нога здесь, другая там. А ты сядь.

Сандро сел на землю. Губы у него дрожали.

— Документы есть?

— Нету.

— Так откуда ты?

— Из Тулы.

— Из Тулы... и что ты тут делал у нас? Где тебя Ольга Сергеевна нашла, такое сокровище?

— В лесу.

— А в лесу что ты делал?

— Висел. На дереве висел.

— Значит, случайно здесь у нас...

— Ну да.

— А делов-то вон сколько понаделал...

Сандро молчал.

— Бедная Оля... — Потехин вздохнул. — Бедная...

Прибежала запыхавшая Марина — принесла палку для выбивания ковров.

— А теперь, Мариночка, — сказал Потехин, — врежь ему как следует.

— Дядь Мить...

— Давай, давай, милая моя, а то ведь я сейчас дядя Митя, а через час гражданин полковник. Посажу тебя лет на десять за убийство — ты ж этого не хочешь?

Марина зажмурилась и ударила Сандро по голове.

Потехин крикнул, поморщился.

— Нет, Мариночка, не так. Ты его по коленке, вот по этой, и изо всех своих сил. Понимаешь? Изо всех, Мариночка!

Марина сжала губы, наморщила лоб и ударила палкой по колену.

Сандро зашипел от боли и упал набок. Брюки в паху у него потемнели.

— А теперь, Мариночка, беги к Алисе, беги, — сказал Потехин, — она там одна, бедная, ей помощь нужна. Бегом, Мариночка, бегом!

Марина убежала.

Потехин присел на корточки.

— Слышишь меня, эй? Так вот. Сейчас приедут мои ребята, начнут задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Ты будешь отвечать правильно. Понимаешь?

Сандро кивнул.

— Ты все сделал сам, один. Никакой Марины рядом не было. Ты меня понял?

Сандро снова кивнул.

— Словами, — сказал Потехин. — Скажи словами: да, понял, гражданин полковник.

— Понял, гражданин полковник...

Потехин встал, взял палку и что было силы ударил Сандро по другому колену.

Сандро потерял сознание.

— Это тебе от меня, дружок...

Оставив Сандро во дворе, полковник обошел дом, постоял у тела Ольги, спустился в кухню, налил в стакан коньяку, выпил, позвонил в полицию.

Алиса проплакала весь день. Марина рассказала ей о смерти Ольги Сергеевны, и Алиса упала в обморок, а потом плакала весь день. Марина приготовила обед, но у Алисы не было аппетита. Марина поела, поглазела на недвижимого мужа Алисы, подремала в гостиной на диване, попила чаю, приготовила ужин, помогла Алисе покормить Игоря, сменить ему подгузники, уговорила Алису перекусить бутербродами, они выпили бутылку вина, после чего Марина ушла домой.

Алиса не спала, когда пришел Дмитрий Иванович.

Она бросилась ему на шею, разрыдалась, Потехин бережно обнял ее, погладил по спине.

— Ну-ну, милая моя, ну-ну... давай-ка перекусим, что ли... как ты? Со мной за компанию? Ну и хорошо... ты разогрей пока еду, а я душ приму...

За ужином они выпили бутылку коньяка, и когда пришло время идти спать, Алиса ног под собой не чувствовала. Дмитрий Иванович подхватил ее на руки, отнес в спальню, раздел, уложил, лег рядом. Алиса положила голову на его плечо.

— Дядя Митя, мне страшно, — сказала она. — Сначала Игорь, теперь мама... я совсем одна, дядя Митя, совсем...

— Ну как же ты одна? Я тут, вот он я, со мной не пропадешь, милая моя, нет, не пропадешь. Я тебя не обижу и другим в обиду не дам. Я же полицейский, понимаешь? Полицейский. Знаешь, как я полицейским стал? Не знаешь... Мне лет двенадцать, наверное, было или тринадцать, и было мне очень жалко нашу соседку тетю Веру. Она была очень красивая и одноногая, ногу в аварии потеряла, что ли... А муж ее бил. Каждый божий день избивал, зверь. Она плакала, пыталась убежать от него, а куда ей, одноногой, убежать? Она ползет от него, а он ее бьет, она ползет, а он бьет... Я не выдержал и бросился на него, а он мне как даст! Прямо в лоб. Кулак у него был ого какой, не кулак, а молот. Ну я и упал. Я ж мальчишка был, а он мужик. Вот тогда я и решил, что буду защищать тетю Веру и все такое... таких, как она... чего я только не повидал в полиции, Алиса, это ж словами не описать... как вспомню девяностые — душа переворачивается... сколько всякой мрази на свет божий вылезло, вору, насильники, убийцы... сколько преступлений осталось нераскрытых — ужас, Алиса, просто ужас... и все эти преступники до

сих пор не понесли никакого наказания, понимаешь? Их тысячи, может, сотни тысяч, они людей убивали, а никто их не наказал, и они и сейчас живут себе, у них жены, дети... что у них на душе, Алиса? Как они с этим мраком живут? А Россия — как она живет с этим мраком? Сколько ж народу убито, а никто не наказан... это ж какая у России душа, а? Жить со всем этим мраком — как? И ведь живет... жуть... тысячу лет этот мрак тащит в себе... — Помолчал. — Но сейчас, слава Богу, все по-другому, сейчас жить можно. Главное — держись за меня, слушайся, и все у нас будет хорошо... разберемся с делами, и все у нас будет хорошо... и на мужиков поменьше заглядывайся, а то ты любишь глазками пострелять, попой покрутить... со мной так не надо, Алиса, ты меня не подводи... я ведь все вижу, все знаю, все... и если что узнаю, я тебя обрею, уши отрежу и голышом бандитам отдам, а уж они тебя, такую красивую, сожрут — не подавятся...

— Дядя Митя... — обиженно сказала Алиса.

— Да это я так, на всякий случай, без обид. — Он погладил ее по плечу. — А главная твоя беда, Алиса, в том, что ты в Бога не веришь...

— Да хожу я в церковь...

— Ходят все, но мало кто верит. Бога любить надо, милая моя, любить! Когда я прихожу в церковь, со мной происходит что-то... я не знаю что... я плачу, Алиса, слезами плачу, когда думаю о Боге, о том, как Он нас любит, а мы его не любим... разве так можно, а? Он нас любит, хотя кто мы ему? Нет никто и звать никак, срань

всякая, не дети родные и даже не племянники... а Он все равно нас любит, любит! И мы все его дети, бедные дети, которых Он любит... И когда я прихожу в храм, милая моя, я как в облако вхожу... вокруг все светло, тепло, и у меня от счастья слезы льются, и я верю, что мы спасемся, Алиса, все спасемся, и ты, Алиса, и я, и наши дети спасутся...

— Я сейчас заплачу, дядя Митя, — сказала Алиса, — мне так хорошо с тобой, что я сейчас заплачу...

— Не плачь, милая моя, не надо... давай-ка я тебя обниму... вот так... где там наши губки... вот где наши губки... вот так, моя милая, ага, так... ножки повыше держи, повыше... вот так... все будет хорошо, милая, все будет хорошо...

На рассвете, когда Потехин еще спал, Алиса вдруг вскочила и спустилась к мужу. Игорь лежал неподвижно, дышал размеренно. Алиса села на край кровати, взяла его руку и заплакала. Ей никогда не было жалко ни мать, ни Игоря, она вообще не умела жалеть других людей, не понимала, чем горе отличается от неприятностей, а сейчас не понимала, почему плачет, что подняло ее от сна, привело сюда, зачем она сидит тут и держит мужа за руку, хотя знала, что будет рада бесчувственной радостью, когда он наконец умрет, наверное, ей просто надо было поплакать, выплакаться, и она плакала, содрогаясь от рыданий, а потом вернулась к Дмитрию Ивановичу, прижалась к нему, согрелась и затихла, причмокивая во сне, бедное дитя...

Господин Аспирин

Андрей Иванович Замятин всю жизнь работал на заводе, выпускавшем колючую проволоку. Пришел на завод в начале войны слесаренком на подхвате, а на пенсию ушел директором предприятия, на котором делали не только простую колючку, но и армированную ленту «егоза». Он гордился своим вкладом в победу над фашизмом и девятого мая выпивал три раза — за деда, погибшего в 1941 году под Оршей, за отца, павшего в 1945 году под Будапештом, и за завод, доставивший много неприятностей Гитлеру. Замятин был коренастым, плотным и круглоголовым, старался держаться прямо, всегда был тщательно выбрит, летом носил двубортный пиджак, зимой для тепла надевал галстук и норковую шапку, покупал только отечественное и ездил на полуржавой «волге» с дырявым днищем.

Его сосед Евсей Львович Евсеев-Горский был высоким, тощим, остроголовым, назло всему миру курил махорку, носил бородку, даже дома не снимал черных очков и на улице появлялся только в сопровождении овчарки

Берты. Он был сыном ленинского наркома, расстрелянного в годы Большого террора, и провел в лагерях в общей сложности около двадцати лет. В советские годы Евсеев-Горский активно участвовал в правозащитном движении, при Ельцине требовал ввести в Уголовный кодекс наказание за пропаганду сталинизма, потом рассорился со всеми друзьями-знакомыми, с родственниками и детьми и уехал в городок, где родилась его мать и где между отсидками он работал в художественной школе, преподавая рисунок и живопись.

В городке их называли врагами не разлей вода. При каждой встрече они ссорились до хрипоты, а иногда и до «скорой помощи»: оба были гипертониками. Евсей Львович считал Замятина сталинистом, обзывал вертухаем и проклинал колючую проволоку — символ ГУЛАГа. Андрей Иванович сердился: «Профессия у тебя одна — людей баламутить, пока другие дома строят и хлеб растут. Россия для вас, евреев, не дом, а дача: пересидели, понасрали и уехали в свой Израиль, а мы за вами прибирай! Да что ты знаешь про Россию и русский народ, мудила лагерный?» «Насмотрелся я на этот народ в лагерях, — кричал Евсей Львович. — Они даже за колючей проволокой оставались шовинистами и сталинистами, всегда готовыми за жратву предать и продать! Патриоты!» Они пили водку, дымили — Андрей Иванович «собранием», Евсей Львович — махоркой, ругались, закусывали солеными огурцами, которые Евсеев-Горский ненавидел, и датским мясом из жестянок, которое Замятин презирал, потом оба кисали, и Евсей Львович со страдальческим ви-

дом начинал жаловаться на юктагломерулярный аппарат, а Андрей Иванович — на почки и чертово давление, делились таблетками, выпивали по маленькой на посошок и отправлялись восвояси. На следующий день все повторилось.

Андрей Иванович жил один, но почти каждый день к нему заезжала внучка, веселая толстушка, которая следила за тем, чтобы в доме было чисто, а в холодильнике — полно.

За Евсеем Львовичем присматривала Аглая, вдова одного из правнуков. Она носила мешковатые штаны, куртку с капюшоном, из дома выходила только в магазин. Спала она на диване в спальне Евсея Львовича. По ночам старик просыпался, стонал, хныкал, Аглая давала ему лекарство, и старик затихал до утра.

В субботу Аглая вернулась из магазина, посидела со стариками, выпила водки и пошла в туалет. В туалете перед унитазом на коленях ползал мужчина.

— Ты кто тут такой? — спросила Аглая.

— Аспирин, — ответил он не оборачиваясь.

— Мне надо пописать.

Мужчина встал, посторонился.

Аглая спустила трусики и села на унитаз.

— Бачок барахлит, — сказал Аспирин. — Старик просил починить. Замятин, — уточнил он. — Андрей Иванович.

Он был высоким, широкоплечим, длинноруким. Узкое лицо изуродовано двумя шрамами — один на щеке, другой на лбу. Левое ухо без мочки. Взгляд внимательный, глаза ледяные.

— Кто тебя так покусал? — спросила Аглая.

— Собака, — сказал он. — В детстве отец травил меня собакой.

— Травил?

— Питбулем. Загонял меня в пустой сарай и заставлял бороться с питбулем.

— А потом что?

— А потом я питбуля убил. Перегрыз ему глотку.

Аглая не выдержала — рассмеялась.

— Ну ладно, — сказала она. — А почему Аспирин?

— Александр Спирин. А — точка — Спирин. Аспирин.

Она встала, повернулась к нему спиной и натянула трусики.

— Классная жопа, — сказал он. — Спусти-ка воду.

Аглая нажала кнопку.

Аспирин легонько отстранил женщину, опустился на колени, сунул руку под бачок.

— Ну вот, больше не течет.

— А ты Замятину кто? — спросила Аглая.

— Был женат на его внучке. Нинку Абаринову знаешь?

— Нет, — сказала Аглая. — Я и тебя не знаю.

— Теперь знаешь. Где руки помыть?

Она проводила его в ванную. Прислонившись к дверному косяку, ждала, пока он вымоет руки. Покусывая губу, задумчиво смотрела на его мускулистую спину.

— Так ты, значит, сантехник? — спросила она, протягивая ему полотенце.

— Я — хозяин, — сказал Аспирин. — Строю дома и все такое. Ты что вечером делаешь?

Подошел к ней, обнял рукой за пояс, привлек, коснулся губами уха, другой рукой сжал ягодицы — похозяйски.

— Старика нянчу, — прохрипела Аглая, закрывая глаза. — Не надо...

— Я приду вечером, — сказал он, отстраняясь. — Классная жопа, Аглая.

Подмигнул без улыбки и вышел, вскинув на плечо брезентовую сумку с инструментами.

Аглае казалось, что у нее поднялась температура — градусов до сорока. Или, может, даже до ста. Она подошла к зеркалу, посмотрела на руки — пальцы дрожали — и прошептала:

— Классная, конечно.

Когда она вернулась в комнату, Андрей Иванович ругал Аспирину за то, что тот нанимает на свои стройки чужаков-таджиков, когда в городе полным-полно хороших русских мужиков-умельцев, наших, мающихся без работы.

— Нехорошо, Саша: черные у тебя — куда ни плюнь, — завершил Замятин. — Не стыдно?

— Не стыдно, — сказал Аспирин, не повышая голоса. — Нанимал наших — они полдня по стройке ходили, не работали, все думали-искали, за что я им недоплатил, а потом полдня из меня кровь пили. А таджики — таджики работают. Вот и все.

— Зато и платишь ты таджикам вдвое меньше, чем русским, — сказал Евсей Львович.

— Они не жалуются. А будут жаловаться — на их места вон сколько желающих.

— Капитализм, — со вздохом сказал Андрей Иванович. — Нельзя так, Саша.

— Не капитализм, а новый ГУЛАГ, — возразил Евсев-Горский. — И Саша в этом ГУЛАГе — новый Сталин. Господин Аспирин.

— Насрать, — сказал Аспирин, все так же не повышая голоса. — Насрать мне и на ГУЛАГ, и на Сталина, и вообще на все это ваше прошлое.

— Будущего, Саша, не бывает без прошлого, — наставительно сказал Евсей Львович. — Пока мы не разберемся в своем прошлом...

— Разбирайтесь, — сказал Аспирин. — Без меня. Мне сегодня надо людям заплатить, чтобы им завтра было что жрать, вот и все. Я им вашего Сталина на хлеб не намажу. — Посмотрел на часы, встал. — Пора мне, извините.

Перевел взгляд на Аглаю, снова подмигнул и вышел. Старики переглянулись.

— Понятно, — сказал Андрей Иванович. — С таким прошлым...

— Конечно, — согласился Евсей Львович. — С таким прошлым не до прошлого...

— У кого прошлое? — спросила Аглая. — У Спирина, что ли?

— Он не Спирин, — сказал Евсей Львович. — Он Самохин...

Сделал паузу, с многозначительным видом уставившись на Аглаю.

— Ну Самохин, — сказала она. — И что Самохин?

— Что-что... — Евсей Львович вздохнул. — Самохин был маньяком, про него все газеты тогда писали: первый маньяк-убийца в демократической России. Убил двадцать с чем-то женщин...

— Двадцать три, — сказал Андрей Иванович.

— Двадцать три. — Евсеев-Горский закашлялся. — Смертную казнь тогда уже отменили, ему дали пожизненное, а жене и сыну поменяли фамилию и помогли устроиться здесь, у нас. Спирина — девичья фамилия Сашиной матери...

— И что? — снова спросила Аглая.

— Я тогда разговаривал с одним доктором, — сказал Замятин, — и он сказал, что генетика — она и есть генетика. Сын маньяка становится маньяком. Или наследует цвет отцовских глаз.

— А он маньяк? Аспирин — он маньяк?

— Он не маньяк, — строго сказал Евсеев-Горский. — Он эксплуататор и антисемит. Лет через двадцать такие будут править фашистской Россией. Ненавидит черных и вообще все меньшинства...

— Меньшинства! — Замятин с остервенением раздавил окурок в пепельнице. — Главное меньшинство в России — русские!

— Демагог! — закричал Евсей Львович. — Сталинист!

— Правда глаза колет, сльциноид? — закричал Андрей Иванович.

Аглая выпила рюмку и ушла к себе.

В детдоме Аглая ничем не выделялась среди ровесниц. Была она довольно послушной, училась и дралась средне, обожала индийское кино, вино и табак попробовала лет в двенадцать, в тринадцать лишилась девственности за компанию, однако постоянным дружкой не обзавелась. Но когда ей было пятнадцать, из-за нее подрались директор детдома и завхоз. Все удивлялись, не понимая, что такого особенного нашли взрослые мужчины в губастенькой невзрачной девушке, не понимала этого и сама Аглая, которой пришлось давать показания в суде по делу о педофилии в детдоме, и только фельдшерница Мальва Сергеевна знала ответ на этот вопрос: «Женщину они в ней нашли, настоящую женщину».

Невзирая на разницу в возрасте, Мальва и Аглая были лучшими подругами. Мальва восемь раз ходила замуж, но так и не встретила своего настоящего хозяина. Не всякий мужчина — хозяин, говорила она, выпив спиртика с водой, и дело тут не в любви или ненависти, просто не всякому дано тянуть всю жизнь такую ношу, как любимая женщина, и не всякой женщине дано быть рабой, преданной своему хозяину по любви; в руках заурядного мужчины женщина всего-навсего кошелка, в руках же настоящего хозяина она — арфа, которая отдается мужчине без раздумий, позволяя ему извлечь из нее прекрасную

музыку. Совершенно запутавшаяся Аглая с замиранием сердца слушала подругу, пока та не падала лицом в тарелку с винегретом, пробормотав напоследок: «Только в жопу сразу не давай — они после этого борзеют».

На выпускной вечер Аглая надела туфли на высоком каблуке, обтягивающую зеленую блузку с золотым отливом и юбку до «линии любви». Когда она вышла покурить, у крыльца остановился красный автомобиль с открытым верхом. Молодой мужчина, сидевший за рулем, поманил Аглаю пальцем, похлопал по сиденью рядом с собой, она села, он щелкнул зажигалкой, она прикурила, и они умчались в Москву. Через месяц она вышла замуж за Артема Евсева-Горского, через два месяца со слесарным молотком погналась за двумя его любовницами-кокаиистками, но не догнала, через два с половиной месяца стала вдовой — Артема застрелили в притоне, где он ползал на четвереньках по полу в черной кожаной маске без глаз, — и через неделю после похорон переехала к Евсею Львовичу, потому что родственники Артема присвоили все его деньги, оставив вдову без копейки.

Со временем Евсею Львовичу удалось уладить дело: родственники перевели на его счет крупную сумму для Аглаи и отдали красный автомобиль с открытым верхом. Старик ничего не сказал невестке о деньгах, а машину поставил в сарай.

Почти каждый день Аглая протирала кабриолет, гладила и разговаривала с ним.

Она не жаловалась на жизнь. Мыла полы, стирала и гладила белье, готовила обед, ходила в аптеку, смотрела

телевизор, ложилась спать на диване в спальне старика и без раздражения принимала его слюнявые ласки: мужской палец — еще не мужчина.

У нее не было ни денег, ни профессии, ничего, кроме этого дома и этого старика. Зато у нее было будущее — в этом Аглая была уверена. Она твердо знала, что однажды в ее жизни появится хозяин, для которого она станет арфой, хотя ничего и не делала для того, чтобы приблизить этот день: в городке у нее не было друзей, а из знакомых — только сосед Андрей Иванович Замятин. Не было до сегодняшнего дня, до той минуты, когда Аспирин коснулся губами ее уха и сжал рукой ее ягодицы — нестыдно, по-хозяйски, и все ее струны завибрировали.

Дождавшись, когда гость уйдет, а Евсей Львович приляжет вздремнуть, Аглая приняла душ, переделась, налила в миску щей с мясом для овчарки Берты, взяла бутылку водки и отправилась в сарай, к красному автомобилю. Устроилась поудобнее на переднем сиденье, откуда была видна калитка, глотнула из горлышка, закурила и стала ждать.

Ждать пришлось долго. Через час она заснула с бутылкой в обнимку.

Разбудил ее Аспирин: сел за руль, нажал клаксон — Аглая вскинулась.

— Классная тачка, — сказал он.

— У меня все классное, — сказала она, протягивая ему бутылку.

— Пойдем куда-нибудь?

— Пойдем.

Он допил водку, помог Аглае выбраться из машины, обнял, взял зубами за ухо, она засопела, выгнулась, прижимаясь к нему и поднимаясь на цыпочки, закрыла глаза, открыла глаза, почувствовав, как он весь напрягся, и увидела Евсея Львовича с Бертой.

— Сучка, — с горечью сказал Евсей Львович, глядя на Аглаю. — Ну не сучка, а?

— Язык-то попридержи, — сказал Аспирин.

— А то что? — вскинулся старик. — Убьешь и ухо отрежешь? Яблоко от яблони недалеко падает!

Аспирин шагнул к нему — овчарка зарычала, показав клыки.

— Что — страшно? — засмеялся Евсей Львович. — Страшно, сучонок?

— Я тебе не сучонок, — сказал Аспирин, — старый дурак.

— Ах ты сволочь! — завопил старик. — А ну фас, Берта! Фас!

Овчарка прыгнула — Аспирин махнул рукой — и упала набок, суча лапами.

— Ты что с животным сделал, скотина? — завизжал Евсей Львович, бросаясь на Аспирина.

Мужчина коротко ткнул его кулаком в лицо. Старик упал.

— Пойдем отсюда, — сказал Аспирин.

— Тогда мне надо вещи взять, — сказала Аглая.

— Брось, я тебе новые куплю.

— Разбросался...

Они поднялись наверх, Аглая включила свет, Аспирин выключил, взял ее за ухо, они упали на кровать, задрыгали ногами, сбрасывая туфли.

Через полчаса, выкурив по сигарете, они собрали вещи в сумку и спустились во двор.

— Чем ты ее? — спросила Аглая, кивая на собаку.

— Пойдем.

— А старик?

— Очухается.

— Ты про отца не думаешь?

— На хер он сдался. Нам налево.

Калитку они оставили открытой.

Андрей Иванович Замятин нашел Евсеева-Горского за сараем. Хозяин сидел, широко раскинув ноги, и по разбитому лицу его текли слезы.

— Эх, — сказал Андрей Иванович, с кряхтеньем опускаясь на корточки, — да тебе в больницу надо. Давай-ка помогу...

Евсей Львович с трудом поднялся на ноги, оперся на плечо соседа, и они двинулись к калитке.

— Как это ты так, а? — спросил Андрей Иванович, тяжело дыша.

— Берта померла, — сказал Евсей Львович.

— Ну померла и померла. Она ж собака.

Они добрались до замятинской «волги», Андрей Иванович помог Евсею Львовичу забраться на переднее сиденье.

— Ты только машину мне тут не вздумай засрать своей кровью, — сказал Замятин, садясь за руль. — Эх ты, мудила ты лагерный...

— Демагог, — сказал Евсей Львович. — Какой же ты демагог, Андрей...

«Волга» завелась с четвертого раза.

— Как же тебя угораздило, а? — Андрей Иванович газанул. — Ну, с ветерком!

— Угораздило, — проворчал Евсей Львович. — Ты на дорогу смотри, болтун старый...

Аглая и Аспирин подали заявление в ЗАГС и поселились в новом двухэтажном доме, просторном, полупустом и пахнущем краской. Аспирин целыми днями мотался по объектам, встречался с заказчиками, улаживал дела, а Аглая готовила еду для строителей. Помогала ей узбечка Матлуба, которую жители городка звали Мать Люба или просто Люба. В полдень и вечером Аглая и Люба — Люба была за рулем — развозили еду в термосах по стройкам.

Люба гордилась мужем: Карим был доверенным человеком хозяина и мастером на все руки — и сварщиком, и каменщиком, и электриком, и вообще кем угодно, если платили. Он был родом из Ташкента и с удовольствием командовал деревенскими узбеками и таджиками, которые работали на объектах Аспирина. Карим презрительно называл их черножопыми. Люба мечтала о детях, но побаивалась их заводить: «Карим пить начал, беда. Он когда водки выпьет, совсем дурной становится, нельзя ему пить».

За два дня до свадьбы случилась беда. Кто-то из черных убил Жульку — изнасиловал, задушил и бросил голый в кустах у реки. Жулькину одежду не нашли.

Жулке было пятнадцать, она была дочерью спившегося Димона Жулина и его шалавой жены-пьяницы Нинки, и весь городок знал Жульку как пьянчужку и шлюху.

Старуха Нехаева и ее сын видели мужчину, который вылез из кустов и скрылся, но опознать его не смогли: «Эти черные все на одно лицо, да и темнело уже».

Убийство взбудоражило городок. Мужики пообещали перебить «всю черноту».

Аспирин спрятал своих рабочих в подвале и зарядил ружье.

Люба забилась в кладовку рядом с кухней и плакала не переставая.

— Что делать будем? — спросила Аглая.

— Сделай им бутербродов с сыром, что ли, — сказал Аспирин. — Разберемся как-нибудь. Денег за июль я им пока не платил, в случае чего — сэкономим на этих, других найдем.

Аглая отнесла в подвал бутерброды и чай.

Когда она вернулась, Аспирин в кухне пил водку с полицейскими — Толиком и Серегой.

— Значит, Карим, — сказал Толик. — Решай, Саня.

— А чего решать? — Аспирин смотрел в пол, хмурился. — Решать тут нечего. Карим мне нужен, пацаны. Во как нужен.

— Тем более, — сказал Серега.

— А точно он? — спросил Аспирин.

— В его машине нашли. — Толик достал из кармана полиэтиленовый пакет. — Трусы, лифчик... трусы грязные... это улики...

— Ладно, — задумчиво проговорил Аспирин. — Пойду поговорю с ними.

Аглая нарезала колбасы, полицейские выпили и закусили.

Через полчаса вернулся Аспирин. За ним брел таджик. Аглая попыталась вспомнить его имя: кажется, Файзулла...

— Давай сюда. — Аспирин взял со стола пакет с уликами. — Договорились там, этот пойдет. Оформили тряпки?

— Еще нет, — сказал Толик.

Аспирин разорвал пакет, протянул Файзулле одежду, тот взял трусики, положил в карман.

— Нет, — сказала Аглая, — не трусы — лифчик. На лифчике следов нет.

Аспирин забрал у таджика трусики. Файзулла свернул лифчик, сунул в карман.

— А не расколется? — спросил Серега, с сомнением глядя на таджика. — Дохлый какой-то...

— Жены нет, детей нет, — сказал Аспирин. — Проголосовали они все за него. Демократия. Он тоже голосовал.

— Тебя как зовут? — спросил Серега.

— Файзулла он, — сказала Аглая.

— Ну пойдем, Файзулла, — сказал Толик. — Налить ему, что ли, напоследок?

Сергеа налил в стакан водки, протянул таджику, тот выпил залпом, вытер рот рукавом и пошел за полицейскими.

— Давай сюда трусы, — сказала Аглая.

Аспирин отдал ей трусы.

Она спустилась в сад, развела костер, бросила трусы в огонь. Опустилась на корточки, закурила. Неслышно приблизилась Люба, села рядом, прижалась головой к колену Аглаи и заплакала. Аглая обняла ее за плечи.

В середине августа Аспирин и Аглая сыграли свадьбу.

Под гулянку арендовали кафе «Техас», которое когда-то называлось «Дружбой». Гостей было много. Пришла даже мать убитой Жульки — бритоголовая Нинка, надевшая по такому случаю платок с узором, платье с подвернутыми рукавами и кроссовки. Она с порога выпила фужер водки и закусила конфеткой. На нее косились, но помалкивали.

Андрей Иванович Замятин и Евсей Львович Евсев-Горский сидели на почетных местах. Когда дошла очередь до подарков, Евсей Львович потребовал тишины и вручил Аглае обувную коробку, перевязанную шелковой ленточкой, и ключи от красного автомобиля с открытым верхом. Пока Аглая целовалась со стариком, Аспирин открыл коробку и сказал: «Ну ни хера себе!» Аглая заглянула в коробку — она была доверху набита пачками пятидесятирублевых в банковской упаковке. «Тут миллионов пять, — сказал Аспирин. — Или больше». Андрей Иванович подарил пятьдесят тысяч рублей, старинные жемчужные бусы, доставшиеся ему от бабушки, и

золотой портсигар царских времен — с игривым Амуром на крышке и надписью «От поклонников и поклонниц дорогому нашему дусе Арнольду Георгиевичу».

— Дуся, — сказал Аспирин. — Ну ни хера себе. Ну старики.

К нему подошел полицейский Толик.

— Пацаны сейчас позвонили, — сказал он. — Фатима эта твоя в своего Карима стреляла.

— Какая Фатима? — спросил Аспирин.

— Ну как ее... у вас живет которая...

— Люба, что ли? — спросила Аглая. — Мать Люба?

— Ну Люба. Взяла ружье — и из двух стволов.

— И чего?

— Ничего. — Толик расхохотался. — Промахнулась. Сейчас плачет, дробь у мужа из жопы выковыривает...

— Дело завели? — спросил Аспирин.

Толик махнул рукой.

— Да ну их! Дело еще заводить... Чурки ж!

— Они наши чурки, Толик, — сказала Аглая. — Разберутся между собой.

— Горько! — закричал Андрей Иванович.

Молодые стали целоваться, а гости — считать.

— Откуда у тебя портсигар? — спросил Евсей Львович.

— От верблюда, — ответил Андрей Иванович.

— Небось от деда-чекиста, — сказал Евсей Львович. — Вот уж пограбил он купцов да дворян, вот уж пострелял...

— Ты деда не тронь! — закричал Андрей Иванович. — Он за родину погиб!

— За родину, за Сталина, — сказал Евсей Львович.

— Что, кипит говно еврейское, покоя не дает? Не дает покоя Сталин?

— Вертухай! — закричал Евсей Львович.

— Дерьмократ пархатый! — закричал Андрей Иванович.

— Горько! — закричала вдруг Нинка Жулина, сорвав с бритой головы платок и выбежав на середину зала. — Опять горько! Подсластить бы! Эх и подсластить бы!..

Черная рука

В пятницу Тата отправилась на встречу с богатым клиентом, который жил за городом и хотел застраховать дом и жизнь, добираться пришлось на метро до конечной, потом на автобусе, а потом еще пешком километра два, но дело того стоило, клиент подписал договоры на очень солидную сумму, угостил чаем, был мил, предложил подбросить ее до Москвы, но она отказалась, пошла пешком, решила сократить путь, свернула, споткнулась, упала, попыталась встать, но не смогла, Мишель подхватил ее на руки, отнес в свой дом, наложил повязку, подмигнул, она обняла его за шею, потянулась к нему губами — он ответил, и все, что произошло, произошло именно так, как и должно было произойти, и когда он лег рядом и взял ее за руку, она уже чувствовала себя другой, иной, новой — впору имя менять, а спустя несколько минут она заговорила, освобождаясь от всего того, что мучило и болело, избывая тайну, с которой несовместима свобода, и даже не удивляясь тому, как легко дается ей освобождение от этой мерзкой тайны, а он слушал, водя

пальцем по ее животу, и когда она замолчала, он сказал: «Выходи за меня замуж, Тата. Мы просто созданы друг для друга: мы оба левши», и она засмеялась и прижалась к нему, и они снова занялись любовью, а потом она сказала, что у него шершавая нога, а он сказал, что она вся гладкая, как яблочко, даже лобок у нее гладкий, как яблочко, и она поняла вдруг, почувствовала, что теперь навсегда соединена с этим мужчиной жалостью, благоговением и стыдом...

Она рассказала Мишелю о старшей сестре Верочке, о которой никому не рассказывала, потому что Верочку изнасиловали и убили, а о таком позоре — шестнадцатилетнюю девочку из приличной семьи изнасиловали и убили — никому не рассказывают, о таком позоре молчат до смерти, но о позоре стало известно всему городку, об этом говорили все, и мать не выдержала, сначала заперлась на чердаке, потом наелась печной золы, потом попыталась выколоть себе глаза, а потом повесилась, потому что стыд оказался сильнее жизни, но Тата и об этом рассказала Мишелю, не упуская ни одной детали: черная перчатка до локтя, которая была на мертвой Верочке, печная зола, которой был набит рот мертвой матери, обручальное кольцо, которое отец во время похорон держал за щекой, а дома выплюнул и надел на левую руку, и только тогда Тата поняла, что жизнь непоправима, и заплакала в голос...

По ночам Тата, вооружившись кухонным ножом и натянув черную перчатку на левую руку, бродила по темным улицам городка, мечтая о встрече с насильником,

который убил Верочку. Ей казалось, что он обязательно клюнет на девочку в коротких шортах и обтягивающей маечке. Она чувствовала: он где-то рядом, в темноте, следит за каждым ее шагом, крадется, прячась за деревьями, чтобы вдруг возникнуть перед ней, схватить, смять, впиться, и вот тут-то она возьмет его за глотку рукой в черной перчатке и всадит нож, повернет, еще раз, еще, наслаждаясь его смрадным предсмертным дыханием, каждым его хрипом и вздохом...

Эта игра закончилась через три недели, когда Тата зарезала соседа Тимошу, которого приняла за маньяка. Он выскочил из темноты с пьяным воем — хотел попугать девочку — и получил удар ножом в сердце. Убийцу не нашли. Черную перчатку Тата с мрачным отворачиванием сожгла в огороде, в лопухах.

Однако что-то подсказывало ей, что Тимоша — случайная жертва, и мысли о маньяке не отпускали еще долго. Поначалу у маньяка не было лица — была какая-то бесформенная масса зла, какое-то чудовище, которое лишь угадывалось в темноте: блеск глаз, островерхое ухо, рука с перстнем, вросшим в палец, что-то мерцающее, просто — что-то огромное, мощное и лютное. Но такое очевидное существо не могло заманить в заброшенный дом Верочку, которая чистила зубы шесть раз на дню и целовалась только с собственным отражением в зеркале. Значит, загадочный насильник был обычным мужчиной, вызывавшим доверие, может быть, красивым мужчиной, молодым, но с проблесками седины в усах, с печальной улыбкой, деликатным и сильным, хорошо одетым и

владеющим английским и, быть может, французским. Идеальный мужчина. Тата видела его улыбку во сне. Он гладил ее по голове, целовал за ухом, щекотал усами шею, и она прижималась к нему всем телом, умирая от счастья, а наутро обнаруживала на шее синяки — следы его сильных пальцев, и невозможно было выйти на улицу без шейного платка, и душа ее была смущена совпадением образов идеального убийцы и идеального мужчины.

Вскоре после смерти матери отец привел в дом дальнюю родственницу, которую велел называть тетей Агнией: «Она будет присматривать за нами».

Агния была шумной, крупной и веселой. По ночам она громко кричала, потом выбегала на крыльцо голышом, чтобы остыть.

В первую же субботу, когда Шелепины мылись в домашней бане, она осмотрела Тату с ног до головы и сказала: «Ты какой-то конструктор, а не девушка. Остроглазый бог тебя делал — пригнал деталь к детали без зазоров, хоть на голову тебя ставь. Ножки правильные, грудка правильная, попка правильная... и вся ты — ни велика, ни мала, ни бела, ни черна. Красивая машинка, гладкая, но краски не хватает». Тата не поняла: «Краски?» «Души. Тело женщины и есть ее душа, а душа — это что-то такое неправильное, что-то такое *чересчур*, что-то лишнее... выпил водки, поел, покурил, а чего-то не хватает... песни не хватает, Тата... Но ничего, душа не от рождения дается, душа — дело наживное». Хлопнула Тату по маленькой крепкой заднице и расхохоталась во всю свою алую и белую блядскую пасть.

Тата любила вечерами поболтать с Агнией, которая после рюмки водки пускалась в рассуждения о любви, мужчинах и судьбе: «Своего мужчину узнаешь сразу, вдруг, как увидишь, как почувешь его запах, так и поймешь — не ошибешься. Он один такой, как Гагарин в космосе, и второго такого у тебя не будет никогда. Муж будет, любовник будет, в сарае с соседом будет, а твой — только раз в жизни...» И вспоминала о парне, с которым целовалась через решетку, а потом его увели, и все, и ничего больше между ними не было, а потом и замужем побывала, и маленькую дочку похоронила, и снова замуж вышла, а тот, с которым целовалась через решетку, так и остался — единственным...

«Через какую решетку?» — недоумевала Тата.

«Не важно, — говорила Агния. — У меня после него аж губы почернели...»

«Губы?»

«От любви, Татка, от любви...»

Тате становилось душно от таких разговоров.

Ей тоже хотелось «вдруг», но такого «вдруг», которое изменило бы не только ее жизнь, но и ее самое, и мужчины в этом ее «вдруг» занимали место вовсе не главное. Они были чем-то вроде молотка, отвертки или гранаты, при помощи которых можно было бы открыть дверь в другую жизнь, в жизнь после «вдруг».

От матери всегда пахло кухней — чем-то подгоревшим, прокисшим, подтухшим. Когда дочери были совсем маленькими, она туго бинтовала их ножи, чтобы ножи выросли стройными. Она не давала девочкам

рыбу, чтобы они не онемели. Боялась цыган, черных собак, левшей и женщин «с глазом». Всего боялась. Каждый день ходила на завод, где работала нормирующей, и высиживала в цехе восемь часов, не обращая внимания на насмешки пьяненьких сторожей. Завод выпускал мебель для ветеринарных клиник и зарядные ящики для военных, однажды все это перестало быть нужным, завод остановился, но мать по-прежнему каждый день ходила на работу. Бродила по пустым цехам, в обед перекусывала вареной картошкой с молоком, принесенными в узелке из дому, вечером жаловалась мужу на жизнь.

Ее муж ушел с завода одним из первых, связался с бандитами, перегонявшими машины из Тольятти в Москву, — на его деньги семья и жила. Вечерами жена уговаривала его бросить это дело: «Покорись, Ваня, покорись!» «Кому покорись? — спрашивал муж. — Покорился бы, да некому. Плыдем куда плывем: у болота нет русла». Мать плакала.

Когда Верочке исполнилось четырнадцать, Шелепины сказали дочерям, что те не родные, а приемные, из дома малютки. Верочка обняла мать и пропела сладким голосом: «А мне все равно, ты моя ма-а-мочка!», а Тата сказала: «Так я и знала».

Девочки были не похожи на родителей и друг на дружку: Верочка — черноглазая, высокая, с каштановыми волосами, смешливая, а Тата была ледышкой — белокурой, голубоглазой, маленькой, тонкогубой.

«Так я и знала», — сказала Тата. Сказала без удивления и горечи, потому что знала: у нее никого нет, и ее ни у кого нет.

Сколько себя помнила, она чувствовала себя чужой в этой семье, вообще — чужой, другой, иной, и чужой была эта женщина, всегда пахнущая чем-то подгоревшим и прокисшим, этот невзрачный мышеватый мужчина, обожавший по субботам в семейной бане намыливать дочерей, особенно Верочку, которая с удовольствием выгибалась, жмурилась и постанывала, и чужой была старшая сестра с ее фотографиями индийских актеров, вырезанными из журнала и развешанными над кроватью, и соседи, дравшиеся до крови в очереди за колбасой, — и люди это как будто чувствовали, как будто понимали, что они ей чужие и она им чужая, сама по себе.

«Жаль, что из тебя душу нельзя вытащить, — сказала как-то соседка, старуха Незлобина. — Вытащить бы — да палкой ее, палкой, пока не поздно».

Смерть Верочки, смерть матери, а потом и смерть отца, который погиб в бандитской разборке, Тата встретила так же, как утренний прогноз погоды или сообщение о том, что Эстония и Казахстан установили дипломатические отношения.

Она не удивилась, обнаружив среди вещей отца вторую черную перчатку до локтя, перчатку Верочки, и не стала рассказывать Агнии о том, что мужчина, которого она оплакивала, изнасиловал и убил свою старшую дочь.

Промолчала и о другой находке — о наградном пистолете Коровина с гравировкой, который был завернут в про-

масленную тряпку и спрятан на чердаке, в старом сундуке, среди вещей прадеда-стахановца. Тата сдвинула предохранитель и выстрелила в десятилитровую бутылку для вишневки — по чердаку разлетелись осколки стекла. Улыбнулась — а улыбалась она редко — и сунула пистолет в карман.

Вскоре она уехала в Москву.

Агния дала денег, много денег, два кольца с бриллиантами и мужские часы с платиновым браслетом: «Это из отцовых запасов. Продашь, если что».

Тата уложила в чемодан белье, пистолет Коровина в жестяной коробке из-под печенья, туфли на высоком каблуке, надела кеды, поцеловала Агнию и ушла не оглядываясь.

Учеба в университете, потом работа в страховой компании: огромный офис, с утра до вечера на службе, черный низ, белый верх, туфельки на шпильках, сто восемьдесят пять девушек за компьютерами, похожих друг на дружку, как их съемные квартиры, по вечерам книги, иногда кино, ни друзей, ни подруг — только ожидание своего часа.

— А потом? — спросил Мишель.

— А потом встретила тебя...

А потом встретился он, и она сразу поняла, что это — «вдруг», что именно его, этого мужчину, она и должна была встретить, чтобы губы ее почернели от любви...

— С первого взгляда, — прошептала она, целуя его в плечо и содрогаясь от нежности.

С первого взгляда, с первого слова, с первого прикосновения он стал частью ее, еще не став частью ее физиче-

ски. Она узнала его, словно сам Бог коснулся ее рукой в темноте, и приняла тотчас, не колеблясь и не сомневаясь.

— Но ведь ты ничего про меня не знаешь, — сказал Мишель.

— Ты же сам сказал, что мы созданы друг для друга. А ты правда левша?

— Конечно. Каждый день получал за это от матери — спицами по рукам. Но дело, конечно, не в матери, дело во мне, только во мне, потому что я соглашался с тем, что меня надо бить по рукам, потому что я был виноват в том, что брал ложку левой рукой, а ложку левой рукой брать не следует, а я брал, и мать била меня по рукам вязальными спицами... или чем-нибудь еще... но чаще — вязальными спицами... это не то чтобы больно, это неприятно — неприятно, когда тебе утром, в обед и вечером напоминают о том, что ты не такой, как все, неполноценный, неправильный, да, неправильный... но я был полностью согласен с матерью, со всеми, кто считал, что я устроен неправильно... это было естественное чувство, естественное согласие... я старался, и мне удалось стать правой... то есть, конечно, амбидекстром... это когда человек одинаково хорошо владеет обеими руками... — Он помолчал. — Но что-то внутри, понимаешь... что-то внутри оставалось левым, и это приходилось скрывать, и я это скрывал, научился врать, казаться правой, быть как все, и это меня совершенно не мучило, никогда не мучило, я как будто забыл о том, что был левшой, перестал придавать этому какое-то ни было значение... Жизнь-то шла: друзья, девочки, математика, музыкальная

школа... я ненавидел музыкальную школу, но родители требовали, и я занимался не хуже других, даже, может, и лучше... на выпускном экзамене сыграл Шопена... этюд а-моцц, нечто виртуозное, это очень трудно, но я справился, еще как справился... наверное, левая рука помогла... — Взял со столика бутылку, глотнул. — Я не хотел заниматься теннисом, мне нравился бокс. Мне не нравился Достоевский, но все восхищались Достоевским. И медицинский институт, и женщины... я терял к ним интерес почти сразу, но это было неприлично, и мы ходили в кино, разговаривали о Достоевском и Шопене... я женился, через год утратил интерес к жене и нашему ребенку, что поделаешь, но я был мужем и отцом, я отвечал представлениям людей о том, что такое муж и отец... мой отец умер, оставил нам много денег и этот дом... я не любил отца, не любил мать, жену, дочь... нет, это не так, дело не в них, а во мне... дело не в том, что я не любил их, дело в том, что я любил что-то другое, мне хотелось чего-то другого, а они хотели чего-то своего, чуждого и чуждого мне, вот и все, наши желания расходились, как Шопен и Достоевский, как кислое и зеленое... Но беда в том, что я не знал, чего же я хочу на самом деле. — Помолчал. — У матери обнаружили рак в терминальной стадии, и я замечательно играл роль заботливого сына, черт бы меня побрал! Она лежала тут, в этом доме, и я каждый день навещал ее... почти каждый день... субботы и воскресенья мы с женой и дочерью проводили здесь... гуляли, читали, разговаривали с матерью... за ней присматривали медсестры, хорошие медсестры, дорогие, но и мы

были всегда рядом, всегда, хотя иногда она уже не узнавала нас... морфий... — Отпил из бутылки. — А потом... это странно, непонятно... никаких причин... но однажды ночью я проснулся и заплакал. Никогда не плакал, а тут — на тебе. — Помолчал. — Я — увяз! Вот что я вдруг понял. Это ужасно. Увяз в себе, в своей лжи, в своей бессовестной, никчемной, внешней жизни, во всем этом... в этой... — Выпил. — Я всегда знал, что живу неправильно, лживо, как будто иду рядом с собой — рядом с собой настоящим, и он, настоящий, казался мне тенью, хотя на самом деле тенью был я... понимаешь, Тата, не важно, есть в жизни смысл и цель, не важно — *что*, важно — *как*. Как живешь — вот что важно, Тата. Если живешь правильно, по совести, то и смысл, и цель появятся словно сами собой, каким бы детским лепетом это ни казалось... сами собой... и жизнь станет полной, настоящей, и ты никогда уже не будешь задумываться о ее смысле и о цели... — Сделал паузу. — Я оделся, долго бродил по лесу, курил, потом сидел в избушке, снова курил... тут неподалеку стоят две избушки для пикников... там меня и нашла медсестра... мать отмучилась, и медсестра искала меня, чтобы сообщить о ее смерти... она очень сильно волновалась... молодая женщина... стала что-то говорить, потом обняла меня, попыталась утешить... потом не могла мне отказать... мы устроились на полу, на каком-то тюфяке, и там-то, в объятиях этой женщины, я почувствовал себя свободным... трудно это объяснить... у меня ведь были женщины, так что дело не в медсестре, а в том, что я был готов... я делал что хотел... и тут возле избушки появи-

лись какие-то люди, мы слышали их голоса, и женщина вдруг стала отбиваться, шипеть, шептать: «Хватит, хватит...», и тогда я ее... тогда я ей... понимаешь, глядя на эту медсестру, обладая ею, я вдруг понял, чего я хотел на самом деле, чего хотел всю жизнь: смерти матери! Я хотел, чтобы она умерла, чтобы ее не было... то есть на самом деле больше всего на свете я хотел ее убить... убить... медсестра и мать — они каким-то образом слились, стали женщиной, которую я обнимал, и я поступил так, как мечтал... — Помолчал. — Я спрятал ее в подвале, потом закопал... — Помолчал. — Я не маньяк, Тата, нет, конечно, я просто стал собой... все это — все это только средство... все эти женщины... — Помолчал. — Ты у меня девятнадцатая, но ты совсем другая, Тата... ты мое «вдруг», и я не хочу тебя терять... ни за что, Тата, ни за что... — Обнял ее. — Я тебя ждал, Тата... ты, конечно, можешь уйти — я и пальцем тебя не трону, но ведь ты не уйдешь... не надо... ты моя правда, настоящая, единственная... Тата, мы нашли друг друга... любимая...

— Девятнадцатая? — переспросила Тата. — А эти восемнадцать...

— Забудь про них, забудь...

Он стянул с нее полотенце, поцеловал в губы, в грудь, ей хотелось кричать, бежать, через несколько минут она закричала, сорвала голос, ей показалось, что она сейчас умрет, но не умерла. Лежала рядом с женщиной, опустошенная и счастливая, и никогда еще она не была так счастлива. Смотрела в потолок и не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Мишель спал.

Где-то наверху зазвонил телефон, и Тата очнулась.

Она спустилась в гостиную, достала из сумочки телефон и сказала:

— Да.

Прокашлялась и повторила:

— Да, слушаю.

— О, извините, — сказал пьяненький мужской голос. — Ошибся номером...

— Бывает, — сказала Тата и выключила телефон.

Оделась, скинула сумочку на плечо, спустилась в гостиную, выключила настольную лампу и вышла, оставив дверь открытой.

Светало, но уличные фонари за деревьями еще горели.

Она вышла на главную улицу поселка.

Снова зазвонил телефон.

— Да.

— Опять вы, девушка! — с восторгом сказал тот же пьяненький мужской голос. — Не везет нам с вами, извините...

— Бывает, — сказала Тата.

Постояла, покусывая нижнюю губу, и пошла назад.

В спальне включила настольную лампу.

Мишель спал на спине.

Тата достала из сумочки пистолет, сняла затвор с предохранителя, Мишель вдруг открыл глаза, глубоко вздохнул и снова опустил веки, и тогда она выстрелила — два раза в лицо, потом в грудь.

Через полчаса ей удалось поймать такси.

Приехав в родной городок, легла в гостиной, чтоб не беспокоить Агнию.

Среди ночи ее разбудил парень — огромный, голый и пьяный, он лопотал что-то бессвязное.

— Как тебя зовут? — спросила Тата. — Эй, как тебя зовут? Зовут тебя как?

— Серега, — наконец сказал он. — А ты кто? Где Агния? Сегодня пятница или не пятница?

По пятницам Серега напивался и ночевал у Агнии.

— Да что тебе Агния, — сказала Тата, откидывая одеяло. — Иди сюда, Серега.

Утром она обнаружила, что левая рука у нее стала черной по локоть.

Через месяц она вышла за Серегу замуж, стала Прохоровой, через восемь месяцев родила мальчика, через два года — девочку.

После родов Тата располнела, прибавила в груди, чуть-чуть в росте, стала красавицей — спокойной и циничной. Всегда хорошо одетая и душистая, она легко научилась ленивой развинченной походке и наглой улыбке. После бухгалтерских курсов устроилась на ликеро-водочный завод, который контролировали бандиты. Вообще-то и привел ее на завод известный на всю округу Серафим, у которого работал Серега — шофером, телохранителем, курьером и вообще на все руки. По вторникам и пятницам Тата надевала кружевное белье и задерживалась после работы, потому что на завод приезжал Серафим, и они занимались сексом в директор-

ском кабинете. Всякий раз Серафим совал в ее сумочку деньги и ворчал при этом, что Тата трахается хоть и с удовольствием, но без души. Тата смеялась, дразня его алым своим наглым языком.

Сын был умным и красивым мальчиком, весь в Мишеля, а вот дочь ныла да капризничала. Тата покрикивала на детей, иногда отвешивала оплеухи, но, в общем, была довольна и сыном, и дочерью. Довольна была и Серегой, который делал вид, что ничего не знает о ее связи с Серафимом, в свободное время занимался домом, жену и детей не бил, и Тата не видела причин, чтобы отказывать мужу в маленьких ночных удовольствиях, с которыми они знакомились благодаря порнофильмам.

По субботам они ездили с друзьями на шашлыки, брали с собой Агнию, напивались, пели хором про Ксюшу — юбочка из плюша, про коней привередливых — у Сереги был сочный хриплый голос — и купались голышом.

Тата не стеснялась своей черной руки и никогда ее не прятала. Серафиму нравилось, когда она ласкала его этой рукой, а Серега этой руки побаивался.

Когда Агния заболела, Прохоровы дали ей денег на операцию, Тата по вечерам забегала проведать подругу, готовила ужин, выслушивала жалобы. Агния по-прежнему жила в доме Шелепных, но молодые мужчины соглашались оставаться у нее на ночь только за выпивку. Както Серега починил крышу и забор, Агния угостила его водкой, вернулся он под утро. Тата сказала: «Мне сдача с чужих баб не нужна. Еще раз такое случится — глаза

выколю во сне, ты меня знаешь». С того дня Серега стал обходить дом Шелепиных стороной.

Серафима взяли, бандитов кого перестреляли, кого арестовали, Тату допрашивали, она рассказала все, что знала, даже про вторники и пятницы в директорском кабинете, но про общак — ни слова. Эти деньги она спрятала в надежном месте.

В городке шептались, что Серафима сдал Серега, который тяжело и молча ревновал хозяина к жене.

У ликеро-водочного завода появились новые хозяева, они оставили Тату в прежней должности и даже прибавили зарплату. И по-прежнему по вторникам и пятницам она надевала кружевное белье и задерживалась после работы.

Серега устроился механиком в автомастерскую.

В ту субботу они, как всегда, собрались на шашлыки. По дороге вспомнили, что забыли про воду. Серега остановил машину на обочине, Тата с сумочкой в руках перешла улицу, взялась за дверную ручку и влетела с дверью в магазин, сбитая с ног взрывной волной. Машина, в которой сидели Серега и дети, превратилась в груды металлолома, погибших хоронили в закрытых гробах, Тата отделалась ушибами и порезами.

Одиннадцать лет она прожила в Новопокровском монастыре послушницей, но так и не приняла пострига, а потом была вынуждена покинуть обитель по требованию матери-игуменьи.

Тата была хорошей послушницей: соблюдала правила, трудилась не покладая рук, лучше всех читала вслух Пи-

сание в трапезной, была тиха и весела, и все ее любили, но обнаружившийся у нее дар вынудил настоятельницу монастыря прибегнуть к крайней мере.

Началось все с малого. Одна из монахинь страдала мигренью, во время приступов она становилась сама не своя — не помогали ни молитвы, ни лекарства. По ночам у ее постели сидели сестры, которых эти дежурства доводили до крайнего изнеможения. Пришел черед Таты, она провела с больной ночь, и после этого у монахини боли прекратились навсегда.

«У нее рука легкая, — сказала монахиня. — Погладила по голове — и как рукой сняло».

Посмеялись и забыли.

Но вскоре стали замечать, что прикосновение Татиной черной руки и впрямь избавляет не только от болей, но и от болезней. Об этом заговорили и паломники, которые повезли и понесли своих несчастных родственников в Новопокровский монастырь, «к целительнице». Пошли разговоры о чудесах.

Поначалу игуменья не принимала все это всерьез, но после того как женщина из Шацка стала рассказывать всем о том, что черная рука вылечила ее сына от рака спинного мозга, поняла, что это серьезно. Мать Варвара вызвала Тату на разговор. Ей не пришлось убеждать послушницу в том, что та занимается богопротивным делом: Тата и сама это понимала. Сошлись на том, что отныне послушница будет всячески избегать встреч с паломниками.

Мать Варвара была суровой женщиной, много повидавшей и пережившей. Завершая разговор с послушницей, она наклонилась к Тате и проговорила: «Чудо — это язва в мире и, может быть, самое страшное из всех испытаний, какие посылает нам Господь».

Настоятельница понимала, что она бессильна перед людьми, для которых жажда чуда, тайны и авторитета стократ важнее в этом мире, чем жажда света.

Тата пряталась от паломников, иногда целыми днями не выходила из кельи, но люди подстерегали ее всюду, хватали за одежду, ползали за нею на коленях, кричали и плакали, просили, умоляли и требовали чуда.

Через год у матери-игуменьи обнаружилась неоперабельная опухоль мозга. Она слишком поздно обратилась к врачам. Ее лечили, но вскоре были вынуждены отпустить из больницы. Настоятельница вернулась в монастырь, чтобы умереть. Сестры плакали и молились. Мать Варвара кричала от боли и то и дело теряла сознание, но отказывалась от морфия. В горячем поту, со спутанными волосами и затуманенным взглядом, она молила Господа о смерти. Ночью в ее келью пришла Тата. Она положила черную свою руку на голову игуменьи, и вскоре та перестала стонать, а потом и уснула. Через неделю она начала принимать пищу и вставать.

Врачи ничего не понимали: мать Варвара стремительно выздоравливала.

Все в монастыре знали о том, что произошло, но боялись рассказывать об этом настоятельнице. Однако она сама догадалась обо всем и велела позвать Тату.

— Соблазн должен войти в мир, — сказала она, — но горе тому, через кого он войдет.

Тата кивнула и сказала:

— Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный.

Вечером она спустилась в мастерскую, помолилась, включила циркулярную пилу и отрезала черную руку. Ее спасли от смерти, выносили, подлечили, потом помогли собрать вещи и проводили до автобуса.

— Человек может многое вынести, если его не останавливать, — сказала настоятельница, когда ей рассказали о поступке послушницы.

Монахини плакали, прощаясь с Татой, а она не плакала.

Она навестила Агнию, которая вышла замуж за соседа Фунтосова, вдовца и молчуна, взяла из тайника деньги, купила самое необходимое из мебели и одежды и уехала в заброшенную лесную деревню километрах в двадцати от райцентра. Выбрала дом покрепче, наняла мужиков — они починили крышу, окна и печь, перестелили полы, привели в порядок баню, почистили колодец.

В деревне не было электричества, поэтому стирать приходилось в корыте. Тата кое-как вскопала огород, посадила картошку, лук, огурцы, завела кур. Читала при свете керосиновой лампы, готовила на керосиновой же плитке. Соль, сахар, муку и керосин раз в месяц привозил Фунтосов, у которого была машина — старенький,

но крепкий «уазик». Фунтосов же разобрал один из заброшенных домов на дрова.

Узнав, что послушница лишилась чудесной руки, люди перестали беспокоить Тату. Она жила одиноко, придерживаясь порядка, к которому привыкла в монастыре: вставала в пять утра, молилась, кормила кур, работала по дому и в огороде, читала Писание, рано ложилась спать.

Незадолго до Страстной ее навестила мать Варвара, привезла подарки — расписные чайные чашки, варенье, теплые домашние тапочки.

— Не страшно тебе тут?

— За делами бояться некогда. Да и некого.

— Не жалеешь ни о чем?

— Вы поступили честно, и я постаралась все сделать по-честному.

Настоятельница усмехнулась.

— Когда человек говорит, что поступает честно, то чаще всего это означает, что он не способен быть добрым.

За два дня мать Варвара навела порядок в сараях, выскоблила полы в доме и научила Тату выпекать хлеб на сковороде.

Утром третьего дня Тата проводила настоятельницу до большой дороги, где ее уже ждала машина.

— Самое злое наше заблуждение, — сказала на прощание мать Варвара, — заключается в том, что любовь к Богу мы упорно и с большим удовольствием отделяем от любви к миру. Не бегай от людей, Тата, Бог — это люди. — Вдруг всхлипнула. — Прощай, милая.

Обняла и проворчала, целуя:

— Хоть собаку заведи, что ли...

Вечером пошел дождь.

Тата поужинала холодной картошкой, выпила чаю и легла спать, но долго не могла уснуть, не понимая, что с ней происходит, что поднимается из глубины души, улыбалась, не понимая, спит она или нет, во сне или наяву она встала, надела ночную рубашку, вышла из дома и увидела огромную яркую луну, какие бывают, наверное, только в снах, и медленно двинулась по раскишей после дождя дороге, все еще не понимая, во сне это происходит или наяву, и когда дошла до заколоченного магазина, в окне которого навсегда застыла картонка с надписью от руки «Скоро буду», встретила высокую старуху, похожую на мать Варвару, но это была не мать Варвара, а незнакомая старуха — ее ладони, сложенные ковшиком, светились, словно в них горела спичка или маленькая свечка, и старуха сказала: «Ну-ка, сложи ладошки, как я», Тата покачала головой и ответила: «У меня нет второй ладони», но старуха повторила сердито: «Ну-ка, сложи», и Тата со вздохом сложила ладони ковшиком, и старуха прикоснулась к ее рукам, и в Татиных ладонях загорелся слабый огонек, просвечивавший сквозь ее пальцы, и она повернулась и быстро пошла назад, держа руки перед собой и стараясь не пролить огонь наземь, взбежала на крыльцо, толкнула ногой дверь, склонилась над Татой, улыбавшейся ей в темноте, протянула к ней сложенные ковшиком ладони, но огонь вдруг исчез, словно растворившись во тьме, не осветив и не согрев эту тьму,

и тут она проснулась и долго лежала без сна, думая о том, что она снова стала другой, иной — в пору имя менять, и у нее нет ни прошлого, ни будущего, а есть только вдруг, сейчас, лежала неподвижно, время от времени проводя языком по черным своим губам и прислушиваясь к отдаленным звукам, наполнявшим ночь, и не спала, улыбалась и ни о чем не жалела...

Вечер на заброшенной фабрике

Она открыла глаза, села, уронила голову на грудь и снова закрыла глаза. Она находилась в комнатке с низким потолком, с зарешеченным окном, сидела на тахте, которая покоилась на автомобильных покрышках, положенных одна на другую, здесь пахло машинным маслом и табаком, а утром она пособачилась с матерью и сестрами — Светкой и Танькой, надела ошейник с шипами, юбку-резинку и отправилась гулять, выпила пива с Ленкой, потом джин-тоник с Хохлом, с которым потом немножко потрахалась, потом всей компанией жарили шашлыки на прудах и пили водку, после чего она оказалась на заброшенной фабрике — краснокирпичные корпуса с выбитыми окнами, горы мусора, растрескавшийся бетон между цехами, лопухи и бузина — и выпила черт знает чего с тем рыжим парнем, как его там, и этот рыжий повалил ее, она ударила его коленом в живот, но ему хоть бы хны, он содрал с нее юбку, навалился, рыча и плюясь, и тогда

появился огромный мужчина, и вот теперь она сидит на тахте, голая, даже без трусов, только ошейник с шипами на месте, а напротив сидит огромный мужчина, на нем клетчатая рубашка навывпуск, брезентовые штаны, босой, в комнатке пахнет машинным маслом и табаком, солнце в зарешеченном окне, голова болит и кружится, спина исцарапана, мужчина неподвижен, от такого не спрячешься и не сбежишь...

— Ты бы оделась, — сказал мужчина, протягивая ей юбку и рубашку. — Как тебя звать?

— Кузнецова, — сказала она, не поднимая головы. — Верка.

— Лифчика не нашел, — сказал мужчина. — Ты бы оделась.

— Не было лифчика, — сказала она, расправляя на коленях юбку. — Хреново-то как...

Он протянул ей фляжку, она глотнула, потом еще раз.

— А сумка?

Он протянул ей сумочку.

Она вытряхнула на тахту пачку сигарет, зажигалку, закурила.

— Мне сегодня шестнадцать, — сказала она. — День рождения. Вот блин.

— Ничего не случилось, — сказал он. — Не переживай.

Под окном — столик со стопкой книг, чайником и фотографией — на ней две белокурые девочки-близняшки лет пяти-шести.

— Твои? — спросила она.

Он не ответил.

— А как тебя зовут?

— Михаил.

— Живешь тут, что ли?

Он промолчал.

— Жена выгнала, что ли? Бабы — суки.

— Они уехали, — сказал он. — Все уехали.

— Куда? — Не дождавшись ответа, глотнула из фляжки. — Самогон, что ли? Сам гонишь?

— Ты бы оделась, — сказал он. — Туфли твои тут.

— Мне и так хорошо, — сказала она. — Без туфлей.

И лифчик я не ношу. Без лифчика прикольно.

— Поздно уже, — сказал он, забирая у нее фляжку. — Тебе пора.

— Ты мне не отец, — сказала она. — А ты знаешь, кто мой отец?

Он качнул головой: нет.

— И я не знаю. — Она засмеялась. — Я не знаю, от кого я. И Светка с Танькой не знают, от кого они. А что с этим... ну, который рыжий... с которым я...

— Живой, — сказал мужчина. — Я тебя провожу, не бойся.

— Сама дойду.

— Есть хочешь?

— Не, не хочу. Выпить хочу.

— Хватит.

— А ты здесь один? Один живешь?

Он кивнул.

— Круто. Одному хорошо. Ну когда совсем один, а не как мать. Моя мать. Она не может без мужиков. Вообще не может одна. Вот дура. А когда мужик появляется, дерется. С ним, с нами — со всеми дерется. Напьется — и в драку. А потом ревет. Говорит, одиночество — это не когда тебя бросили, а когда твое тело из морга забрать некому. Дура. А тебя будет кому из морга забрать, Михаил?

Он пожал плечами.

— Хочешь, я с тобой поживу? Не хочешь?

— Тебе пора, — сказал он, протягивая ей туфли.

— Да ладно! — Она снова закурила. — Не бойся. Я не целка. И лифчика не ношу. Зачем лифчик? Тебе тоже не нравятся маленькие сиськи? Маленькие никому не нравятся. Ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок — это как раз про меня... всем нравятся большие сиськи... как два ведра... Буду чай тебе заваривать, а носки — нет, носки сам стирай. Дай еще выпить, не жмоться.

— Хватит, — сказал он.

— Хватит... — Она заплакала, попыталась надеть туфлю, бросила. — Все про все знают, а я не знаю... надоело — не знаю как... все надоело... я что вам всем — собака? Собака, да? Я не собака!

— Не собака, — сказал он.

— Откуда тебе знать? Ничего ты не знаешь. Ничего. И какая разница, заберут тебя из морга или нет? Никакой. Мертвому — никакой. — Икнула. — Согласен?

— Нет, — сказал он.

— Ну и зря...

— Ты в Бога веришь?

— Чего?

— В Бога.

— Ну ты и мудила. — Она покачала головой. — Ты веришь, что ли?

— Не знаю. Что-то ворочается внутри... как будто больной старик... ворочается и ворочается, никак не может устроиться...

— Глисты, наверное...

Он промолчал.

Она встала, сунула ногу в трусы, пошатнулась, но устояла. Натянула юбку и рубашку, плюхнулась на тахту.

— Ну как хочешь, — сказала она. — Не хочешь — как хочешь.

— Потанцуй со мной, — сказал он. — Под музыку.

— Чего?

— Под музыку.

— Под какую на хер музыку? Ты что, с дуба рухнул?

Михаил опустился на четвереньки, вытащил из-под тахты проигрыватель, поставил на столик, включил — зазвучал вальс. Взял девочку за руку — она встала.

— А потом что? — спросила она.

— Что — потом?

— Сначала потанцевать, а потом что?

— Просто потанцевать.

— Ну ты и козел... — Она обняла его, уткнулась лбом в грудь, всхлипнула. — Я под такую музыку не умею. Как она называется?

— «Приглашение к танцу».

— Никогда не слыхала.

Михаил промолчал. Двигался он медленно и неуклюже. От его рубашки пахло керосином и кислым потом.

— Ты не умеешь танцевать, — сказала она.

— Ничего.

— Плачешь, что ли?

Он не ответил.

Они молча топтались посреди комнатки, девочке было и страшно, и хорошо, и что-то дрожало внутри, дрожало и дрожало, а когда музыка закончилась, мужчина закрыл проигрыватель и убрал под тахту.

— Темно уже, — сказал он. — Пора.

— А теперь что? — спросила она.

— Что — что?

— Теперь что ты будешь делать?

— Ничего, — сказал он. — Как всегда.

Он проводил ее до ворот фабрики, повернулся и исчез в темноте.

Она вернулась домой и сразу легла спать.

На следующий день она рассказала про случай на фабрике Ленке и Хохлу.

— И это все, что ли? — спросила Ленка. — И больше ничего?

— Ничего.

— Не может быть, — сказал Хохол. — Что было-то?

— Ничего, — сказала она. — Не знаю...

— Ну ладно, — сказала Ленка. — Колись давай.

— Не знаю, — повторила она. — Что-то... не знаю что...

— Так сходи к нему и спроси, — сказал Хохол.

— Не, не пойду.

— Просто не пойдешь?

— Просто.

И не пошла, нет, не пошла, хотя что-то дрожало внутри, дрожало и дрожало...

Сторублевый поворот

...мерюю человеческой,
какова мера и Ангела...

(Откровение, 21:17)

На могиле отца выросла тыква: Дмитрия Ивановича Старикова похоронили в старом пиджаке, карманы которого были набиты его любимыми тыквенными семечками. Он грыз их с утра до вечера, заплывая шелухой все вокруг. Наталья Ивановна, его вдова, разрывалась на части: готовила еду для поминок, выпросив у соседней взаимности четыре кило говяжьих ребер, носила на кладбище самогонку и закуску для могильщиков, долбивших мерзлую землю, ругалась с оркестрантами, которые заломили неподъемную цену за то, чтобы сыграть три раза Шопена, плакала в похоронном бюро, где надписи на траурных венках сделали с орфографическими ошибками, кормила поросенка, дочь и кур, бегала по соседям, умоляя их прийти пусть не на кладбище, так хоть на поминки, в общем, ей было не до того, чтобы проверять карманы мужа, лежавшего тут же, в доме, в гробу не по росту, поставленном на стол посреди тесной гостиной, где с низкого потолка свешивалась пластмассовая люстра

«каскад» — ее висюльки чуть не касались носа покойника. В конце концов на кладбище собралось человек двадцать-тридцать, включая могильщиков и оркестрантов, и все прошло довольно гладко, невзирая на снегопад, и на поминках никто не напился до безобразия и не подрался, а весной на могиле выросла тыква, и соседи ехидно ухмылялись, и Наталья Ивановна снова оплакивала мужа, над которым смеялись даже после его смерти...

С этой тыквы все и началось, и всякий раз, когда ее жизнь рушилась, Тина вспоминала эту постыдную тыкву, вспоминала те похороны, ту метель, от которой никак было не отвернуться, не спрятаться, пьяненьких музыкантов, вразнобой игравших траурный марш, растерянную и заплаканную мать, которая то снимала обручальное кольцо, то надевала его на узловатый безымянный палец, вспоминала то лето, когда стало известно о злополучной тыкве, о том, как мать схватила мотыгу, ведро, пачку поваренной соли и бросилась на кладбище. Часа полтора она ожесточенно резала, рубила и копала, а когда поняла, что ей не под силу вытащить основной корень, углубившийся в землю метра на полтора-два, высыпала в ямку килограмм соли, полила водой, вернула могильному холму прежнюю форму, села, перекрестилась и заплакала... И плакала до тех пор, пока не встретила Савву Колдуна, с которым жила до весны, а когда Савва решил порвать с ней, позвала на помощь двенадцатилетнюю Тину, взяла ее за пальчик и стала шептать что-то ласковое на ухо, и шептала, и держала за пальчик, и целовала в щечку, пока Савва лакомился ее дочерью...

И вот спустя почти тридцать лет после смерти отца она снова вспоминала о тыкве. Сидела в своем рабочем кабинете на семнадцатом этаже небоскреба, пила виски, курила, таращилась в окно на ночную Москву, и по лицу ее текли слезы. Сидела в кресле без юбки, со спущенными ниже колен трусиками, в разорванной блузке, из которой вывалилась голая грудь, и думала о тыкве, об этой чертовой тыкве, а когда стряхивала пепел в тарелку, взгляд ее падал на две пуговицы от блузки, валявшиеся на ковре рядом с окурком, который бросил на пол один из насильников, кажется, самый высокий, тот, что поставил ее на колени...

За полчаса до полуночи она объявила, что покидает свой пост, и подняла бокал за процветание компании. Она знала, что человек сто из собравшихся в большом зале ее ненавидели, примерно столько же не любили, а остальным на нее было плевать — среди приглашенных на новогоднюю вечеринку было много людей из региональных офисов, они знали ее как генерального директора, богатую, холеную и красивую стерву из анекдотов и мифов о жизни столичных небожителей...

После курантов она попрощалась с заместителями и скрылась в своем кабинете, чтобы переодеться и взять кое-какие личные вещи, прежде чем уехать домой. В комнате отдыха, примыкавшей к кабинету, она скинула туфли, налила в стакан виски, закурила, повернулась к двери и тотчас вспомнила, что забыла закрыть кабинет, но было уже поздно.

Эти мужчины ничего не забыли — надели льжные маски, заперли дверь кабинета и комнату отдыха. И дей-

ствовали решительно, быстро и грубо, наверняка зная, что кричать она не станет. Она не кричала и не сопротивлялась, хотя они обошлись с нею жестоко, пытаясь унижить как можно больше.

— Ты знаешь, за что, — сказал на прощание тот, что был выше остальных. — Теперь мы квиты.

И ушли, растворились в огромной праздничной толпе.

Она сидела в кресле, вся растрепанная, потягивала виски, курила и смотрела в окно на ночную Москву. Конечно же, она не знала, за что. Но, разумеется, она знала, что за дело. А за какое — уже не важно.

За двадцать лет она многим испортила жизнь, особенно в девяностых. Дважды она чудом избежала смерти от пули наемных убийц, начальник ее охраны погиб при взрыве машины, в которой должна была находиться она. Так что случившееся в комнате отдыха можно считать везением — могли и убить. Конкуренты так и сделали бы. Значит, эти трое из тех сотрудников компании, которых когда-то она лишила бонусов, вышвырнула на улицу или отправила в тюрьму за воровство. Она никогда не останавливалась перед крайними мерами, если речь шла об интересах компании. Беременная жена, маленькие дети, старики-родители, болезни, долги — любые доводы, которые использовали провинившиеся, на нее не действовали. Она давно поняла, что сила — в холоде, и никогда не поддавалась чувствам, а потому и не ошибалась. За это приходилось платить, и к этому она тоже была всегда готова. Потому и сейчас не копалась в прошлом, чтобы

понять, кто эти трое и за что они ей мстили. Она не копалась в прошлом и не пыталась понять, кто это сделал и за что, но слезы текли из глаз, текли и текли...

Зазвонил мобильный телефон.

Тина опустила на колени, достала телефон из-под кресла.

Это был Савва Колдун, он всхлипывал и мямлил.

— Наташа умерла, — сказал он. — Умерла моя Наташенька...

— У тебя есть деньги?

— Откуда, Тиночка... все ушли на операцию...

— Хорошо, — сказала она, — денег я дам.

— Мне же ноги отрезали, Тиночка, — сказал Савва. — Обе ноги по колено. Ни Наташи у меня теперь, ни ног. Вот кому я теперь такой нужен, безногий-то?

— Никому, — сказала Тина. — Завтра приеду.

И выключила телефон.

Приняла душ, надела все новое, сунула в мешок равное белье и одежду, вызвала такси, сняла деньги в банкомате, выкурила сигарету на крыльце, села в такси — у водителя на карточке было написано имя Хайрулла — и уехала в Новое Маврино, прижимая к глазам платок, потому что слезы потекли снова...

Отец погиб в аварии на Сторублевом повороте, в километре от города, там, где двухполосная дорога ныряла в лес и делала крутой поворот направо, а потом резко сворачивала влево. Если водитель вовремя не сбавлял скорость, машина запросто могла вылететь через низкое ограждение в озеро, плескавшееся слева у насыпи, а

встречная оказывалась в болоте, которое лежало справа ниже уровня озера. Водители часто нарывались здесь на штраф за нарушение правил дорожного движения, составлявший в хрущевские времена сто рублей, и с той поры поворот и назывался Сторублевым.

Отец редко ночевал дома, таскался по каким-то притонам, жил то у одной пьяницы, то у другой, пытался устроиться на работу, но его уже не брали даже грузчиком в магазин на окраине, даже землекопом на кладбище, иногда уезжал в деревню к своей матери, которая гнала самогон, возвращался трясущийся, заикающийся, жалкий, просил прощения на коленях, потом снова напивался какой-нибудь тормозной жидкостью или стеклоочистителем, и вот, в очередной раз возвращаясь из деревни на попутке, он погиб, и на его могиле выросла тыква...

Наталья Ивановна была маленькой, худенькой, робкой, рыжеватой, глуповатой, никогда не смотрела в лицо людям, всегда бегала как-то бочком, бочком, словно боясь потревожить кого-то. В церковь она не ходила, но к нечистой силе относилась с трепетом и на рынке не покупала ничего у женщин, про которых говорили, что у них дурной глаз.

Всю жизнь она боялась остаться одна, и вот теперь, после смерти мужа, страх ее усиливался с каждым днем. Она плакала и жаловалась соседкам на жизнь, пока они не посоветовали ей сходить к Савве Колдуну.

Савва умел внушать доверие женщинам, особенно незамужним. Если девушка, засидевшаяся в девках, или вдова хотели узнать облик суженого, они шли к Колду-

ну, и он, выслушав их мечты или истории об одинокой жизни, рисовал портрет того, кто может составить женское счастье. Запирался в комнате и рисовал. Всю ночь из-за его двери доносились стоны, вздохи и матюки, художник с кем-то разговаривал, что-то шептал, кого-то как будто уговаривал, с кем-то как будто ссорился, но наутро представлял заказчице портрет идеала. Образ мужчины всегда полностью совпадал с желаниями женщин, и даже если потом они выходили замуж за человека, не похожего на идеал, это не подрывало репутацию Саввы. Даже в таких случаях женщины бережно хранили картинку и рассказывали всем и каждому о провидческом даре художника и волшебной силе искусства: «Уши совсем не похожи. И нос. Да и рост не тот, это правда. Но глаза-то, глаза — угадал!» Этого было достаточно, чтобы заказчицы не жалели о потраченных деньгах. Поговаривали, впрочем, что мужчины, имевшие виды на вдов, тайком приплачивали художнику за то, чтобы портреты были ближе к правде ожиданий, но Савва отвергал все обвинения в коррупции. Известен он был также и нетрадиционными методами лечения, гаданием на картах и умением изгонять бесов.

Был он тощий, неопрятный, седой, жил в запущенной халупе на краю оврага, но его боялись, к нему ходили, ему несли деньги, а если не было денег, без колебаний позволяли ему все — такова была сила магии. Несколько раз ревнивые мужики устраивали ему темную в овраге, но делали это так, чтобы он их ни за что не узнал: они его тоже побаивались.

Все в городе были удивлены, узнав, что Савва вдруг взял да и пересхал к Наташке Стариковой, к этой рыжей безгрудой дурочке. С ним ведь сама Таисия Непряхина — призовая грудь, задница, бедра — консультировалась насчет своей бездетности раз пять или шесть, а он предпочел ей тощую рыбешку Наташку. Чудеса. Не иначе она его чем-нибудь подпоила — в аптеке ж работает, знает толк в таблетках...

Многие нарочно ходили в аптеку, чтобы посмотреть на Наталью Ивановну. А она изменилась. Стояла за прилавком прямо, бесстрашно смотрела в лицо покупателям. Старушки, приходившие в аптеку за *энапчиком* и *ношпочкой*, часто пытались поделиться с провизором подробностями своих жизней, жаловались на мужей, невесток и детей. Наталья Ивановна выслушивала их теперь с полуулыбкой — на улыбку старушки обижались — и говорила приятным голосом: «Следующий».

Но через несколько месяцев Савва заскучал, стал все чаще вспоминать призовую грудь Таисии Непряхиной, и Наталья Ивановна поняла, что удержать она его сможет только одним способом, и отдала ему двенадцатилетнюю дочь.

Той ночью Тина побывала там, где еще никогда не бывала даже во сне, и не знала, по каким правилам там живут, каким богам молятся и чего боятся. Она была не такой уж маленькой и глупенькой, чтобы не понимать: о случившемся нельзя рассказывать никому, об этом следует молчать, об этом лучше даже вообще не думать. Но все

это было таким огромным, таким темным, что утром — Савва еще спал — она спросила у матери:

— Он меня любит?

Мать растерялась.

— Мы оба тебя очень любим... и я, и Савва...

Тина снова спросила:

— Он любит меня?

— Любит, — сказала мать со вздохом. — Он любит тебя больше жизни... больше, чем меня... только помалкивай об этом, поняла? Если откроешь рот, я тебе его зашью. — Выдернула из оконной рамы швейную иглу с ниткой и поднесла к губам дочери. — Вот так, раз, раз — и зашью. Поняла?

Тина кивнула.

Это продолжалось четыре года.

Все желания Тины удовлетворялись сразу, без вздохов и ахов. Она всегда была хорошо одета, и у нее всегда было вдоволь вкусной еды.

Она быстро выросла, и вскоре мать стала стелить себе в гостиной, если Савва хотел провести ночь с Тиной.

За эти годы она научилась многому, чему мог научить ее зрелый мужчина, но не страстности. Ложилась, вставала, садилась, раздвигала, сжимала, переворачивалась, глотала, но проделывала это бесстрастно, только дыхание учащалось.

Иногда Савва жаловался сожительнице на холодность ее дочери, но тут уж ничего поделать было нельзя: Тина действительно ничего не испытывала во время секса,

ничего не переживала, потому что смерть переживать нельзя.

В школе она училась по-прежнему лучше всех, но отношения со сверстниками у нее разладились: они не могли понять, почему она стала такой ледышкой и недоугой, а ее тошнило от языка, который еще недавно их объединял. Для них слово «мрак» было словом, а для нее мраком. Она была пушечным ядром, летящим сквозь рой бабочек. Мертвым чугунным ядром.

Ростом и статью она выдалась в отца, и мужчины поглядывали с интересом на высокую длинноногую девушку с налитым телом, темно-русскими волосами и синими глазами.

Чем ближе было окончание школы, тем настойчивее мать уговаривала Тину остаться дома, не ездить в Москву:

— У нас тут и техникум культуры, и медицинский, и педагогический — на любой вкус. Да и аттестат ты получишь в шестнадцать, все равно год придется ждать, а в техникум и в шестнадцать возьмут.

Но Тина хотела в Москву.

— Поступлю на подготовительные курсы, а потом в университет.

— А деньги? Это сколько ж денег надо!

— Дадите.

— А где жить будешь?

— У тети Оли.

И Наталья Ивановна умолкала под насмешливо-мрачным взглядом дочери.

Тетя Оля была гордостью семьи. Старшая из трех сестер, самая красивая и умная, она с отличием окончила университет, стала женой офицера, родила сына, а после гибели мужа в Афганистане снова вышла замуж, на этот раз за профессора, и жила теперь в огромной квартире на улице Кирова, в двух шагах от Кремля. Правда, последние два года она болела, почти не вставала с постели, и средней сестре Кате, медсестре с большим опытом, приходилось за нею ухаживать.

Эта средняя сестра, Катерина Ивановна, была семейным демоном, злым и проницательным, и Наталья Ивановна ее побаивалась. Катерина Ивановна могла догадаться о Тине и Савве, поэтому, если сестра приходила в гости, Наталья Ивановна отсылала дочь подальше.

Весной, когда до выпускных экзаменов оставалось несколько дней, случились два происшествия, которые изменили судьбу Тины.

До мужа призовой Таисии — Петра Непряхина, хоть и с большим запозданием, дошли слухи о связи его жены с Колдуном. Он подстерег Савву вечером у оврага и выстрелил из охотничьего ружья. Колдуна доставили в больницу, а Петра посадили в кутузку. Наталья Ивановна бросилась в больницу, а призовая Таисия — к начальнику милиции. На следующий день состоялось совещание у постели Колдуна, после чего Савва написал заявление, в котором рассказал, как они с Петром, оба пьяненькие, заспорили о том, кто лучше стреляет, стали вырывать друг у дружки ружье, оно случайно выстрелило, чего в жизни не бывает, а Петр не виноват. Уголовное дело закрыли,

Петра выпустили из кутузки, а вечером Таисия принесла Наталье Ивановне большой бумажный пакет с деньгами. В городе говорили, что после этого Таисия каждую ночь навещала начальника милиции, пока его жена не вернулась из Сочи.

Савву выписали из больницы, он не вставал с постели, рана помаленьку нагнаивалась, а из-за перебитого картечью нерва у него отнялись ноги. Наталья Ивановна радовалась: теперь Савва принадлежал ей, только ей.

Вторым происшествием стало возвращение Катерины Ивановны из Москвы. Ее младший сын, ее любимец, перенес менингит, который дал осложнения, и муж потребовал, чтобы Катерина Ивановна вернулась в семью.

Тетка позвонила Тине, когда матери и Саввы не было дома, и назначила встречу в городском парке. Они спрятались в беседке, стоявшей среди сирени, и Катерина Ивановна сразу перешла к делу.

— Не знаю, что там у вас происходит, — сказала она, — но мне кажется, тебе надо от них бежать. Чем раньше, тем лучше. Хозяин попросил найти женщину, которая согласилась бы ухаживать за Ольгой. Это, конечно, не сахар с медом, но зато будешь жить в Москве. Если не задумишь, подготовишься к университету, а заодно, может, станешь хозяйкой квартиры... ты уже взрослая, а хозяин — кобель... только не спеши с этим... соблазнов там много, но не спеши... уколы ставить умеешь?

Тина кивнула.

Она собрала чемодан, взяла деньги из шкатулки, которую мать прятала в шкафу под одеждой, утром села в первый автобус и через семь часов была в Москве.

Квартира Голубовского на улице Кирова, уже переименованной в Мясницкую, была похожа на огромную пещеру: потрескавшиеся стены, облупившаяся краска, вытертый скрипучий паркет, захламленные узкие темные комнаты с высокими потолками, патефоны, которыми давно не пользовались, графины с мухами, иссохшая обувь по углам, громоздкая мебель с завитушками, много книг — в шкафах, на столах, на полу. Даже в коридоре, даже в туалете — книги, книги, книги.

В 1918 году хозяина квартиры, известного богослова Ужинского, расстреляли большевики, после чего сюда вселилась семья видного чекиста Потоцкого, расстрелянного в середине 30-х по доносу работника Наркомфина Гольца, получившего эту квартиру и исчезнувшего в 37-м, а в 39-м здесь поселился Ефим Таубе, Фима-бомбист, известный революционер, служащий Наркомата внутренних дел, отец нынешнего хозяина пещеры — профессора истории Григория Ефимовича Голубовского, взявшего фамилию матери.

Хозяин был огромным стариком с большой лысиной и красивыми седыми кудрями до плеч. Он беспрестанно курил сигареты «Тройка» и жевал чеснок, спасаясь от зубной боли. По вечерам он надевал вельветовую куртку с шелковыми лацканами, включал в гостиной торшер, садился в кресло с книгой или газетой, снимал домашние тапочки, вытягивал голые ноги и шевелил пальцами.

— Алевтина, — звучным голосом проговорил он, возвращая Тине паспорт. — Теперь, дорогая Алевтина, ты хозяйка этого дома и царица над его обитателями.

Его жена Ольга занимала большую полутемную комнату, пропахшую лекарствами и косметикой. Она полулежала на подушках, укрытая до пояса одеялом, поверх которого покоились маленькие руки в белых перчатках, пропитанных кремом. Голова ее была до бровей повязана платком.

— Только не шумите, — сказала она почти шепотом. — Не надо делать это в соседней комнате — мне же все слышно... особенно когда эта сука Катерина начинала кричать...

— Алевтине шестнадцать, — сказал хозяин. — Побойся Бога, Оля, она совсем ребенок.

Ольга Ивановна закрыла глаза.

— Недолго ей осталось, — сказал хозяин, когда они вернулись в гостиную. — Тяжело это...

Вечером она познакомилась с третьим обитателем пещеры — пасынком хозяина.

Никогда в жизни не видела Тина таких красивых парней.

Рафаэль был высок, его черные шелковистые кудри кольцами ниспадали на плечи, на смуглых щеках темнел румянец, а над красиво вырезанной верхней губой красовалась крошечная родинка. Он был весь свежий, яркий, чистый, от него веяло силой, молодостью, здоровьем, но взгляд у него был истинно детский, как будто даже робкий.

— Господи, — сказал он, широко открывая рот, полный ослепительно-белых крупных зубов, — как же вы, Алевтина, хороши! Упоительно хороши!

Тина много раз слышала от Саввы приятные слова, привыкла, но тут вдруг почувствовала, как в груди стало горячо и тесно, и на на несколько мгновений растерялась.

— Ужинать пора, — сказала она, отводя взгляд. — Пойду руки помою.

Намыливая руки, смотрела на себя в зеркало. Потрогала пальцем щеку — неужели покраснела? Такого с ней никогда не бывало. Похоже, этот Рафаэль и есть один из соблазнов, о которых говорила Катерина Ивановна.

За ужином Григорий Ефимович поднял тост за «прекрасную хозяйку дома», и Тина пригубила водки из хрустальной рюмки.

Мужчины заговорили о политике. Хозяин невозмутимо цедил слова, пасынок волновался.

— Большой террор! — кричал Рафаэль. — Все чокнулись на этом Большом терроре! Но вы же прекрасно знаете, Григорий Ефимович, что Большой террор не идет ни в какое сравнение с Красным террором! Во время Большого террора народу погибло вдвое, а может, и втрое меньше, чем при Красном терроре!..

— При Красном терроре убивали чужих, — сказал хозяин, — а во время Большого — своих.

— Своих?! А свои — это кто? Рабочие, инженеры и крестьяне, попавшие под колесо? Или только небольшая группа тех, кто развязал Красный террор? Плачут-то ведь не о бедных людях, а о видных!

— Рафик, дорогой... — Старик наклонился к пасынку. — Я ведь отлично понимаю, куда ты клонишь. Клонишь ты к моему отцу и его друзьям, которые вырвались из черты оседлости, перебили настоящую русскую интеллигенцию и заняли ее квартиры... квартиры вроде этой, которая принадлежала профессору богословия... но Большой террор — это только завершение Красного... и вот так и родилась страна, в которой мы сегодня живем...

— И которая вот-вот рухнет!

— А еще ты носишь мою фамилию — этого тоже забывать не следовало бы, дорогой. Если она тебе так ненавистна, избавься от нее. Но тогда тебе придется покинуть этот дом, если ты честный и последовательный человек. — Помолчал. — История — это сила, а не смысл. А еще это игра, в которой назад не ходят. Так ведь можно договориться и до возврата дворцов всяким Шереметьевым и Голицыным...

— И прекрасно!

— А волноваться тебе страх как вредно, и ты это знаешь...

Рафаэль вскочил и выбежал из комнаты.

— Как же он красив, — проговорил Григорий Ефимович со вздохом, — и как же безнадежен. — Выпил водки. — Ты, Алевтина, ведь ничего о нем не знаешь? Нет? Ты знаешь, что он игрок? Может за раз проиграть тысячу рублей — тысячу! А на следующий день выиграть вдвое. Он способен мать родную в карты проиграть. Ты об этом знаешь? Нет?

— Нет...

— Анамнестическая неполнота бытия часто приводит к непоправимым ошибкам. Видишь ли, он мечтал стать офицером, как его отец. Хотел стать героем. Но судьба распорядилась иначе. У него эпилепсия... знаешь, что это такое? Нет?

— Знаю...

— Я давно выгнал бы его к черту, — продолжал старик, задумчиво постукивая пальцем по столу, — но как представляю это красивое животное где-нибудь на помойке, среди отбросов, среди воров и проституток... бьющийся в судорогах, с пеной на губах, обосравшийся... и не могу, нет, сердце разрывается, жалко его...

И так строго посмотрел на Тину, что сразу стало понятно: если она осмелится сблизиться с Рафиком, то в тот же день окажется на помойке, среди отбросов, среди воров и проституток.

Страх она, однако, не испытывала: холода, который накопился в ее душе, хватило бы, чтобы заморозить на смерть всю Москву.

Она не теряла хладнокровия, когда ей приходилось терпеть придирки больной тетки, мыть ее непростое тело, ставить уколы, вскакивать к ней среди ночи; когда выслушивала по телефону нытье матери, жаловавшейся на врачей, которые губили «свет очей» Савву; когда хозяин заставлял ее выслушивать огромные газетные статьи, которые он любил читать вслух, вытянув босые ноги и шевеля пальцами, и когда он как бы ненароком клал свою тяжелую горячую руку на ее бедро; когда Рафаэль, прекрасный бог Рафаэль, пользуясь отсутствием отчима,

проскальзывал в ее комнатку, прижимался к ней своим гибким, сильным, душистым, трепещущим телом, а потом жаловался, что во время секса не видит ее лица, бормотал, что они созданы друг для друга и должны быть вместе, но она, еще переполненная наслаждением, вся дрожа, чего с нею прежде никогда не бывало, отвечала прерывающимся голосом: «Зато презерватив не нужен», а потом садилась к нему на колени и позволяла гладить свои шелковистые ножки, целовать в губы и в грудь, лизать и облизывать, и вся покрывалась красными пятнами, и вся дышала млечной похотью, такой жаркой, такой волнующей, такой пахучей, что Рафаэль терял дар речи, начинал трястись, и она вдруг вскакивала и прогоняла его, боясь, что с ним вот-вот случится припадок...

В следующем году старик помог Тине поступить на заочное отделение химического факультета.

А еще через год умерла Ольга Ивановна, и Григорий Ефимович сделал Тине предложение.

Они вдвоем отмечали в ресторане восемнадцатилетие Тины, старик был в ударе, рассказывал, как зарабатывает «немыслимые деньги», продавая иностранцам архивные документы (он был директором архива), много пил, а потом официант поставил на стол вазу с огромным букетом роз, и Григорий Ефимович попросил Тину стать его женой. Она холодно улыбнулась и сказала: «Да, конечно». Он наклонился к ней через стол и сказал: «А с Рафаэлем я уж как-нибудь разберусь, будь спокойна, упоительная моя». Она и бровью не повела, попросила шампанского.

В такси он обнял ее, залез под юбку, стал целовать в губы — она вытерпела все, даже пососала его язык, доводя старик до восторга. Она сосала его язык и думала о его босых ногах, о пальцах с плоскими желтыми ногтями, и дыхание ее было ровным.

Перед сном Григорий Ефимович обычно принимал таблетки — от холестерина, от сердца, от артроза, от простатита, от повышенного давления — все скопом. В тот вечер Тина добавила к ним две таблетки снотворного, и все это хозяин не глядя запил водкой.

Той ночью Рафаэль впервые встретился с нею лицом к лицу, и они любили друг друга без памяти, но под утро Тина заставила его поклясться, что до свадьбы он к ней и близко не подойдет, и он дал слово и разрыдался.

Это был первый случай, когда она не взяла с Рафаэля ни копейки.

Заведующая ЗАГСом отвела Тину в сторонку и сказала, глядя на нее страшными глазами:

— Алевтина Дмитриевна, жених старше вас на пятьдесят два года!

— Я знаю, — сказала Тина.

— На пятьдесят два! Вам восемнадцать, а ему — семьдесят!

— Через два месяца будет семьдесят один, — сказала Тина. — Гости ждут.

Утром Тина поймала Рафаэля в коридоре и прошептала: «Сегодня мы будем вместе. Навсегда. Понимаешь? Навсегда». И приложила к его задрожавшим губам пухлый пальчик.

После того как молодые надели друг другу обручальные кольца и поцеловались, Рафаэль подошел к новобрачным.

— Держите за меня палец, — сказал он. — На удачу. И убежал.

Тина покачала головой.

— Опять в казино, — проворчал Григорий Ефимович. — Ну и ладно, а мы — в ресторан!

В этот день танки Таманской дивизии стреляли с Калининского моста по Белому дому, в городе то там, то здесь вспыхивали перестрелки, милиция попряталась, но в ресторане об этом говорили только в самом начале застолья. А потом забыли. Пили за молодых, за их родителей, за все хорошее.

Тина не ожидала, что гостей будет так много. Пришли сослуживцы Голубовского по архиву, коллеги и друзья из университета, чиновники с изысканно одетыми женами, несколько мужчин с бычьими шеями, украшенными толстыми золотыми цепями.

Из знакомых был только Герман Семенов, сосед по даче в Новом Маврине, сын школьного друга Григория Ефимовича, красивый мужчина лет сорока, в сером шелковом смокинге с цветком в петлице, с ухоженными ногтями и подкрашенными губами. У женщин при взгляде на Германа затуманивались глаза, а мужчины странно усмехались.

Из ее родни никто не приехал. Мать не могла оставить одного Савву, который страдал ногами, Катерина Ивановна хоронила сына, так и не оправившегося после менингита, а остальных и не звали.

Гуляли допоздна. Подвыпившие мужчины восхищались Григорием Ефимовичем, который заполучил такую юную красотку, и подначивали его, отпуская пошлые шуточки. Женщины поджимали губы, узнав, что Тине только недавно исполнилось восемнадцать, и понимающе кивали, когда кто-нибудь говорил, что невеста из провинции: «Да ради московской квартиры эти девки с Лениным в мавзолее лягут!»

Домой возвращались за полночь.

Тина ожидала, что в такси Голубовский будет приставать, но он всю дорогу только держал ее за руку, улыбался и говорил, как он счастлив.

— Многого от меня не жди, милая, — сказал он, когда такси остановилось у подъезда, — я слишком стар для этого, но пошалить мы сегодня пошалим...

Тина скинула в спальне пышное платье и побежала в туалет.

Сидя на унитазе, она вертела в руках баночку со снотворным, прикидывая, как будет лучше — сразу или постепенно.

Внезапно в глубине квартиры что-то с грохотом упало.

Тина насторожилась.

— Алевтина! — закричал вдруг старик. — Иди же сюда! Скорее!

И она как была — в кружевной нижней сорочке, в поясе для чулок, в чулках — бросилась в комнату Рафаэля, из которой доносились крики.

В комнате было темно. В прямоугольнике света, падавшего из коридора, голые ноги Рафаэля били пятками

в пол, дергались, а в темноте Голубовский огромной бесформенной массой раскачивался над пасынком, пыхтя и шипя.

— Да помоги же! — крикнул он. — Ноги держи! Ноги!

Тина бросилась ничком на ноги, пытаясь прижать их к полу, но Рафаэль ударил ее в живот, и тогда она, рыча от злости, снова навалилась на его ноги, вцепилась ногтями в его мясо, и он вдруг мелко-мелко задрожал и затих.

— Все, — прохрипел старик, поднимаясь на колени. — Ну слава Богу...

— Свет включить? — спросила Тина.

— Надо его убрать отсюда...

— На кровать?

— Ты дура, что ли? Отсюда! Совсем отсюда!

Тина все еще не понимала, что произошло, только чувствовала, что это не очередной приступ эпилепсии, а что-то другое.

— Пленку, — сказал старик. — В кладовке пленка, рулон. Принеси. Да шевелись же, идиотка!

К Тине вернулось самообладание. Она достала из кладовки рулон полиэтилена, предназначенного для теплицы, которая строилась на даче в Новом Маврино, и они завернули тело в пленку, обвязали бумажным шпагатом. В лифт тело запихнули стоймя, выволокли во двор по черной лестнице, аккуратно разбили лампочку над дверью, прислонили хрустящий сверток к стене. Голубовский подогнал машину. Багажник был забит канистрами

с бензином, какими-то инструментами, тряпичным хламом. Пришлось засунуть тело на заднее сиденье.

— Оденься, — сказал старик. — Только быстро!

Она взлетела по лестнице, накинула пальто, надела кроссовки, не завязывая шнурков, и бросилась назад.

— Садись сзади, — приказал старик.

Она села рядом с Рафаэлем и плечом прижала сверток к боковому стеклу.

— Куда теперь? — спросила она.

— Подальше отсюда, — ответил Григорий Ефимович. — Туда, где стреляют. Сегодня по всей Москве стреляют.

Он перекрестился и тронул машину.

Редкие фонари едва рассеивали темноту.

Было холодно, пустынно, шел мелкий дождь.

Машина спустилась по Мясницкой к Лубянке, свернула налево и по Китайгородскому проезду выехала на набережную.

Когда поднимались на Боровицкую площадь, труп вдруг навалился на Тину всей тяжестью, скрипя полиэтиленом. Голубовский обернулся и засмеялся, глядя на то, как Тина борется с покойником, пытаясь вернуть его в прежнее положение.

Ни на Моховой, ни на Воздвиженке не было ни одной машины, ни одного прохожего, да и на Новом Арбате в этот поздний час было малоллюдно.

На набережной Голубовский сбросил скорость, а вскоре и остановился.

Несколько минут они сидели молча.

— За что ты его? — наконец спросила Тина. — Он же не виноват.

Голубовский не ответил.

Он сидел, положив руки на руль и откинувшись на спинку сиденья, и молчал.

— Ну ладно, — сказала Тина. — Чего сидеть-то? Делать что-то надо.

Она вылезла из машины, завязала шнурки, постучала в стекло, а когда старик не ответил, открыла дверь. Голубовский пополз боком из машины, и Тина захлопнула дверь.

Пошарила в карманах, нашла сигарету, закурила.

Отошла в тень, присела на корточки.

Похоже, старик умер. На заднем сиденье труп, а старик умер. Рафаэль мертв и старик мертв. Оба мертвы. Значит, надо или звать на помощь, или возвращаться домой.

Где-то неподалеку, за домами, раздался выстрел.

Тина вскочила, затоптала сигарету и быстро пошла по набережной. Увидев вдали под фонарем каких-то людей, свернула направо, прошла мимо гаражей, поднялась проулком к заброшенному дому — окна заколочены досками, перед входом горы битой штукатурки, свернула за угол. В тупике стоял автобус с выключенными фарами. В салоне на полу — кресла были убраны — вповалку спали женщины. На ступеньках автобуса дремал рослый парень с цыганской серьгой в ухе.

— Можно я у вас переночую? — спросила Тина. — Стреляют — страшно.

— Валяй. — Парень зевнул, крикнул в глубину автобуса: — Маруся, к тебе гости!

Из темноты донеслось ворчание.

— Ну давай, давай, — сказал парень. — Только не шумите там, девочки...

Тина пробралась в темноте в конец салона.

— Сюда иди, — прошептала женщина. — Сюда. Ложись.

На полу был расстелен тюфяк.

— Ох как от тебя пахнет, — сказала женщина. — А ну-ка, сладкая моя... что это у тебя под пальтишком-то, а? Ох какая ты тут у нас красивая... какая свеженькая...

Женщина была крупная, жаркая. Она помогла Тине снять пальто и сорочку.

— Остальное я сама, сладенькая, сама, я люблю сама, — сказала женщина. — Ну-ка, давай-ка, выпей сперва...

Тина глотнула из горлышка, с наслаждением втянула запахи невинного зла — бензина, сырой одежды, дешевых духов, немытого тела, перегара — и, закрыв глаза, раздвинула ноги.

Вернувшись домой, она приняла душ, почистила зубы, выпила стакан вина, легла под одеяло и проспала до следующего утра.

Было темно, когда она открыла глаза. Долго лежала, наслаждаясь покоем, теплом, уютom. Потом вылезла из-под одеяла, включила свет, осмотрела себя перед зеркалом — ни синяков, ни ссадин. Идеальное тело, идеальная кожа.

Накинула халат, заварила чаю покрепче, с аппетитом позавтракала, выкурила сигарету.

Теперь нужно было разобратся с жизнью.

Что бы там ни было, отныне она — супруга профессора Голубовского, его жена и единственная наследница — Алевтина Дмитриевна Голубовская, вдова и хозяйка этой квартиры на Мясницкой, дачи в Новом Маврино и автомобиля «жигули». У нее есть деньги. Во-первых, это сбережения покойного мужа, во-вторых, те доллары, которые давал ей Рафаэль. Она не хотела остаться ни с чем, если старик узнает о ее тайных встречах с его пасынком и решит выгнать ее, и Рафаэль это понимал. Он называл это гарантийным фондом и пополнял его после каждой их встречи. За два года накопилось почти восемь тысяч долларов. Тина не взяла с него денег только раз — когда все для себя решила. Она попросила его не беспокоить ее до свадьбы, чтобы старик ничего не заподозрил. Береженого бог бережет. А потом... на «потом» у нее были планы, и в этих планах Григорий Ефимович отсутствовал напрочь. В этих планах был только Рафаэль, ее прекрасный Рафаэль...

Тина вздохнула, глотнула чаю, снова закурила.

Тех денег, что оставил ей Рафаэль, и тех, что достанутся вдове профессора, хватит надолго. Она будет учиться, может быть, переведется на дневное отделение, получит диплом — дальше она не заглядывала. Ну а сейчас ей предстояли хлопоты, связанные со смертью мужа. Он скончался от болезни сердца, это очевидно. Беда в том, что на заднем сиденье автомобиля лежал труп Ра-

фаэля, завернутый в полиэтиленовую пленку. У милиции будут вопросы, и она должна быть к ним готова. И главный вопрос — где она была, когда старик убивал пасынка. Она не знала, что же тогда произошло там, в темной комнате, что именно сделал Голубовский — задушил Рафаэля или зарезал. Скорее — задушил. Воспользовался приступом эпилепсии и задушил. Может быть, подушкой, а возможно, что руками — она не видела, не разглядела. Но об этом лучше никому не рассказывать. Она слишком устала от предсвадебных хлопот, от гостей, от всей этой суеты и шумихи, поэтому по возвращении домой приняла снотворное и ничего не видела и не слышала. Старик обошелся без ее помощи, он все сделал сам. Задушил, завернул в пленку и вытащил из дома, чтобы сбросить тело в реку или спрятать на какой-нибудь свалке. Почему ей знать? Она спала. Старик сильный, уж ей ли не знать. Каждый день они занимались любовью, и он не давал ей покоя до утра. Так что ему было вполне по силам и убить, и в одиночку вынести труп из дома, пока она спала как убитая, приняв снотворное. Ей только-только исполнилось восемнадцать, она почти ребенок и, конечно же, не способна на такую мерзость, как убийство. И нет ничего странного в том, что отпечатки ее пальцев остались на пленке — она же ее покупала, несла домой и убирала в кладовку. Она спала и ничего не слышала. Квартира велика, стены толстые, а спальня — в конце коридора, тогда как комната Рафаэля — у входа. Немудрено, что она не слышала. Да еще и снотворное...

После исчезновения мужа и Рафаэля прошло чуть больше суток, так что пока можно было не дергаться. Профессор мог уехать на дачу, пока она спала. Ну а Рафаэль и вовсе жил по своей воле, приходил и уходил, когда хотел. Значит, она должна сидеть дома и ждать звонка из милиции, которая уже, конечно же, обнаружила на набережной автомобиль с двумя трупами. Возможно, милиционеры сами придут к ней — надо быть готовой.

Она встрепенулась, бросилась в спальню, осмотрелась — нет ли чего подозрительного, потом обошла остальные комнаты, попутно думая о ремонте, который так необходим этой квартире. Старик позволял ей только вытирать пыль, мыть полы и готовить, а о ремонте и слышать не хотел. В ванной давно пора заменить всю сантехнику и плитку. Из гостиной — выбросить старую мебель. Да и паркет неплохо было бы отциклевать.

В комнате Рафаэля она опустила на четвереньки, тщательно осмотрела пол в поисках каких-нибудь следов борьбы, но ничего не нашла. Все как всегда — книги, разбросанная одежда, спортивные туфли под тахтой, ваза на подоконнике, карандаш, закатившийся под стол, рюкзак... Иногда они занимались здесь любовью — на тахте или на полу, чаще всего это случалось днем, при свете солнца, и Тина помнила обстановку этой комнатки до мелочей, но этого огромного рюкзака здесь никогда не видела. Такие, кажется, называются абалаковскими, альпинистскими.

Она вытащила рюкзак из-под стола, отстегнула клапан, развязала веревку, которая туго стягивала горловину рюкзака, и замерла.

Внутри были деньги. Доллары. Много денег.

Она вытряхнула на пол содержимое рюкзака, распечатала пачку, пересчитала — сто стодолларовых купюр. Перевела дух и стала считать пачки. Их было пятьдесят. В каждой пачке — десять тысяч, значит, в сумме здесь — пятьсот тысяч долларов. Полмиллиона. Откуда они у Рафаэля? Неужели выиграл в казино? Других объяснений не было.

Она расстегнула боковой карман рюкзака, вытащила из него сверток, развернула — это был пистолет. Взвесила на руке — тяжелый. Завернула в тряпицу, спрятала в ящик стола. Деньги собрала, сложила в рюкзак, затянула горловину, застегнула клапан.

Перевела дух.

Полмиллиона долларов.

Милый Рафаэль...

Он мечтал о «мерседесе», а на эти деньги можно было бы купить двадцать «мерседесов». Или прожить лет тридцать-сорок в Москве, самом дорогом городе России, ни в чем себе не отказывая.

В дверь позвонили.

Она затолкала рюкзак под тахту, поправила халат, пригладила волосы, заперла дверь комнаты Рафаэля на ключ и крикнула нараспев:

— Кто там?

— Милиция! лейтенант Еременко!

Открыла дверь — на пороге стоял совсем молоденький милиционер, круглолицый, с маленькими рыжими усиками, усталый, смущенный.

Она посторонилась, пропуская его в прихожую, провела в кухню, села, закинув ногу на ногу, и милиционер смутился еще сильнее, сообразив, что под халатом на ней ничего нет.

Тина была готова к схватке не на жизнь, а на смерть, но уже через минуту поняла, что никакой битвы не будет.

Лейтенант спросил, где она была позавчера и что делала, и Тина, закурив, подробно рассказала о свадьбе, об усталости, снотворном и о муже, который, видимо, уехал на дачу, куда и она собирается сегодня, потом погасила окурок и спросила, чем вызван интерес милиции к событиям того дня, и когда лейтенант, запинаясь, выложил все, что знал о смерти ее мужа, опустила голову и долго молчала, считая до пятидесяти...

— Не стану врать, что я его любила, — сказала она. — Но, кроме него, у меня никого не было.

— Если хотите, можете поплакать, — сказал лейтенант.

— Для этого мне нужно залезть под стол, — сказала она. — В детстве я никогда не плакала на людях — только под столом...

Милиционер неуверенно улыбнулся.

— А он был один? — спросила Тина.

— Кто?

— Григорий Ефимович.

— А почему вы спрашиваете? — насторожился лейтенант.

— С нами живет Рафаэль, его пасынок. Ушел со свадьбы и пропал. Не ночевал, не звонил... Он, конечно, гуляка, любит посидеть в казино, в ресторане, но все-таки...

— А как он выглядит?

— Высокий, черные волосы до плеч, как у артиста...

— У вас нет фотографии?

Тина принесла семейный альбом, вынула фото.

— Это мы на даче в прошлом году, — сказала она. — Муж, его супруга — моя тетя... она умерла... вот Рафаэль... а этот, с собачкой, — Герман Николаевич, наш сосед...

— Можно мне ее взять?

— Конечно, — сказала Тина. — Хотите чаю?

— Не откажусь.

Через полчаса лейтенант ушел.

Заперев за ним дверь, она еще раз приняла душ, надела кружевное белье, тщательно подвела глаза, наредила губы, взвалила рюкзак на спину, поймала на Чистых Прудах такси.

— В Новое Маврино. Сколько денег?

Таксист заломил — согласилась не торгуясь.

В Новом Маврино попросила остановиться на соседней улице — на всякий случай.

Дача была двухэтажная, старая, некрасивая, в доме было неуютно, холодно.

Рюкзак Тина спрятала в подвале, в канализационном колодце.

Из трубы соседнего дома поднимался дым, в окнах горел свет.

Она постучала — дверь открыл Герман. Он был в шелковом халате, в расстегнутой белой рубашке, с дымящейся сигарой в холеной руке, украшенной крупным перстнем.

— Тина! — закричал он с веселым изумлением. — Проходите, проходите...

— Григорий Ефимович умер, Рафаэль тоже, — сказала Тина, снимая пальто. — Я осталась одна, мне страшно. Можно я переночую у вас?

— Конечно! Я сегодня один и вообще... — Он схватил ее пальто, прижал к груди. — Григорий Ефимович... как это случилось, Боже мой? Вы, наверное, голодны?

После ужина Герман проводил ее в спальню.

— Вот этот шкаф свободен, пользуйтесь на здоровье, а тут выключатель торшера... может быть, вам снотворного дать, Тина?

Обернулся — Тина стояла перед ним голая.

— Возьмите меня замуж, Герман, — сказала она, не опуская глаз. — Я упоительная женщина, вы не пожалевте. Пожалуйста, не стесняйтесь.

— Мадам, — услышала Тина голос таксиста. — Приехали, мадам.

Она открыла глаза, прочла на карточке имя водителя — Хайрулла, вспомнила, кивнула.

— Спасибо, — сказала она, протягивая Хайрулле деньги, — сдачу оставьте себе.

— Если до вашего дома далеко, — сказал таксист, — я могу вас подвезти, вы только скажите охране, чтоб меня пропустили... бесплатно, мадам...

Таксист, похоже, пуштун или таджик, подумала она, хорошо говорит по-русски, наверное, из тех, кто бежал в Россию после вывода советских войск из Афганистана. Когда-то их было много в Москве.

— Не надо, — сказала она. — Спасибо.

Идти до дома было далеко, но за проходной жителей поселка всегда ждали электрокары вроде тех, какими пользуются в гольф-клубах.

Двадцать лет назад Новое Маврино было обычным дачным поселком, построенным в тридцатых годах, где жили профессора, художники, писатели, чиновники средней руки — люди не из тех, кого очень старательно хостили, лелеяли и охраняли. Редко у кого здесь была тут прислуга. С годами большинство домов обветшало, покосилось. Топили печки, часто сидели при свечах, когда отключали электричество, за водой ходили на колодец, за продуктами — *к еврейю*: старик Абрам помнил еще первых жителей поселка, а ночью его можно было разбудить, чтобы купить водки. Во второй половине девяностых Новое Маврино преобразилось. Новые русские скупили землю, построили роскошные особняки, проложили дороги, выкопали огромный пруд, обнесли поселок высоким забором, поставили охрану. Двухэтажный дом Тины — красный кирпич, большие окна, черепичная крыша — ничем не выделялся на фоне соседних.

Она легла в гостиной. Выпила виски, завела будильник, выключила свет и укрылась одеялом с головой, как в детстве.

На столике рядом с диваном стояла фотография Германа и Рафаэля, рядом лежал конверт с билетом до Милана. В аэропорту она возьмет машину, на которой доберется до Варены, а оттуда паромом — до Белладжо. Врач сказал, что она успеет проститься с мужем и сыном. Герман завещал ей все, что у него было, и попросил кремировать его тело. Вряд ли ей позволят вывезти в Москву тело сына, значит, придется кремировать и его. Она вернется сюда, в Новое Маврино, поставит на каминную полку две урны с прахом и снова останется одна, сама по себе, прекрасная, бесстрашная и бессмертная наследница миллиардного состояния...

Тем октябрьским вечером, когда она предстала перед ним голой и попросила взять ее замуж, Герман впервые назвал ее прекрасной, бесстрашной и бессмертной. Той ночью он был нежен и неутомим, а утром, за завтраком, сказал, что будет счастлив, если она станет его женой.

— Но видишь ли, Тина, — продолжал он, наливая ей кофе, — мне нравятся не только женщины, и с этим ничего нельзя поделать. Если ты готова с этим смириться, я буду счастлив...

— Значит, мужчины...

— Скорее — эфебы...

— Что ж, — сказала она, поднося чашку к губам, — тогда, надеюсь, ты смиришься с тем, что у меня будет ре-

бенок. К врачу я еще не ходила, но менструаций у меня не было семь недель...

— Так это же прекрасно! — воскликнул Герман. — У нас будет ребенок! Это же счастье, Тина!

В конце ноября они поженились, а в июне она родила мальчика, которого назвали Рафаэлем.

Именно тогда стала разваливаться организация, в которой Герман занимал довольно высокий пост. Эта организация обеспечивала аптеки и больницы лекарствами, в том числе импортными. У Германа сохранились хорошие отношения с некоторыми немецкими, французскими и швейцарскими партнерами, и он открыл собственный фармацевтический бизнес. Несколько лет завозили лекарства из-за границы, а потом стали вкладывать деньги в российские заводы, строить новые.

Тина занималась в университете, одновременно учила два языка и помогала мужу. На сына времени не оставалось — ему наняли дорогую няню. Ночевали то на даче, то в московской квартире Германа — чаще вместе, иногда порознь. Ей и в голову не приходило интересоваться, чем занимается муж, оставаясь в Москве один. Может, спит, может, спит с мальчиком — да плевать. С ней он был по-прежнему нежен и честен, а в постели был так изобретателен, что нередко удивлял жену, которая считала, что знает о сексе все.

Однажды на Германа напали у подъезда офиса в центре Москвы. Тина выхватила у бандита бейсбольную биту, проломила ему голову, а второму переломала ребра.

После этого случая они наконец завели настоящую охрану из бывших сотрудников КГБ. Руководил службой безопасности Тимур — огромный самец, умный и обаятельный. Это был период, когда Герман увлекся студентом театрального училища и подолгу не бывал дома. Тина переспала с Тимуром, но вскоре поняла, что ошиблась: он стал относиться к ней как к своей «бабе». Через банк, которым владел друг Германа, она проверила счета Тимура, сопоставила цифры, даты и поняла, что начальник охраны ворует у компании. Она назначила ему встречу в своем кабинете, приготовилась к трудному разговору, но Тимур решил прибыть на встречу в хозяйской машине — и был разорван взрывом на куски. Конкуренты помогли избавиться от проблемы — Тина вздохнула с облегчением и больше никогда не заводила служебных романов.

Когда вдова Тимура пришла за пособием, Тина сказала:

— Во-первых, он воровал у нас деньги. Во-вторых, доказал свою профнепригодность, погибнув в машине, которую не проверил как полагается. Но поскольку вы беременны, я позволю вам пользоваться одним из его счетов — вам и вашему ребенку надолго хватит.

— Какая вы бездушная! — сказала вдова.

Тина нажала кнопку на переговорном устройстве и сказала:

— Следующий.

Во время кризиса 1998-го, когда компания оказалась в тяжелом положении, Тина достала из канализационного колодца рюкзак с долларами, продала квартиру по-

койного Голубовского на Мясницкой — этих денег хватило, чтобы спасти фирму. Уже через два года прибыли компании выросли втрое, а еще через три года она стала лидером на российском рынке.

Герман и Тина объединили свои земельные участки в Новом Маврине, построили большой дом и крытый бассейн, разбили газон — не хуже, чем у соседей.

Раз в месяц звонила мать — передавала городские сплетни, жаловалась на врачей: они никак не могли вылечить Савву, которому нужна была операция. Тина регулярно посылала матери деньги, но когда та сказала, что хотела бы приехать в Москву, чтобы хотя бы глазком увидеть внука, отрезала: «И думать забудь».

Ее сын с каждым годом все больше походил на своего отца, покойного Рафаэля Голубовского. Высокий, гибкий, сильный, красивый, он был мальчиком мягким, мечтательным, ранимым. В те редкие часы, когда Тине удавалось побыть с сыном, она чувствовала себя человеком, попавшим из шумного заводского цеха в лесную глушь. Рафаэль никогда не повышал голос, не кричал и не дрался, много читал, легко усваивал английский, а в музыкальной школе говорили, что он одаренный пианист, которому прямая дорога в консерваторию. Когда Рафаэль слушал Брамса или Дебюсси, Тина с особенной остротой и болью чувствовала, что пропасть между ними, между нею и сыном, непреодолима, как пропасть между живыми и мертвыми.

Герман с каждым годом сдавал, чувствовал себя все хуже, хотя ему не было и пятидесяти, но когда Тина пыта-

лась затащить его к врачам, отмахивался: «Некогда». Что ж, она привыкла доверять ему во всем. А он по-прежнему занимался делами компании, но все реже откликался на зов прекрасных московских эфебов.

У них появилось время для отдыха, и за несколько лет они объездили почти всю Европу. Как-то даже провели все лето в Италии, на озере Комо. Сняли дом неподалеку от Белладжо, по утрам купались, подолгу завтракали на террасе, катались на катере, бродили по каменистым тропинкам, ужинали жареной форелью, пили пино гриджио, любовались закатами. Рафаэлю наняли учителя итальянского, и к концу лета он легко объяснялся с официантами и лодочниками. Герман чувствовал прилив сил, по ночам они занимались любовью, рано утром он выносил Тину на руках на балкон, и она прижималась к его теплomu сильному телу, щурясь от яркого солнца и поеживаясь от порывов тивано — холодного ветра с Альп...

В августе присмотрели небольшую виллу на берегу озера, утопавшую в зарослях олеандра и мирта, с обсаженной кипарисами лестницей, вырубленной в скале и ведущей к воде. Весной Герман перевез туда свои книги, пластинки, картины. Первое, что увидела Тина, когда приехала навестить его, была табличка с названием — «Villa Tina».

— Здесь я чувствую себя лучше, — сказал Герман за ужином. — Может быть, подумаем о том, чтобы подобрать для Рафаэля школу в Милане? А может, и ты с нами? Денег хватит, а жизнь одна...

Через год она сдалась — отвезла Рафаэля в Милан, но сама вернулась в Москву: компания была на подъеме,

Тине до дрожи хотелось сделать ее одной из лучших в Европе, и бросать дело в такой момент она вовсе не собиралась.

Чтобы держать себя в форме, она каждый день плавала в бассейне, трижды в неделю занималась тхэквондо и дважды в месяц встречалась с мужчинами.

Она купила на имя Германа небольшую квартирку с черным ходом неподалеку от Маяковки, куда приходили мужчины по вызову. Секс и больше ничего, никаких красавцев и никаких продолжений. Один из них все же выследил ее, увязался, лепетал о любви, потом стал угрожать разоблачением — она позвонила в эскорт-агентство, а потом сдала шантажиста своей службе безопасности, и ей было все равно, что с ним сделали.

Новогодние каникулы и летний отпуск она проводила на озере Комо, с Германом и Рафаэлем.

Рафаэль ничего не знал о своем настоящем, биологическом отце — отцом он всегда считал Германа, который усыновил ребенка вскоре после рождения. Герман учил его завязывать шнурки, плавать, держать вилку, отличать поганки от сыроежек, разбираться в живописи, правильно произносить английское «th» — их близость была естественной. И Тина не видела ничего необычного в том, что они гуляют, взявшись за руки, или сидят на террасе допоздна, прижавшись друг к другу, или в том, что Рафаэль целует отца перед сном, как в детстве.

По вечерам они зажигали в гостиной свечи, Тина укрывала мужа пледом, Рафаэль садился за пианино и играл Шуберта или Шопена. В открытые окна тянуло

горьковатым запахом мирта, Тина курила у окна, глядя на озеро, лежавшее внизу огромной серебряной лужей, на огни вдали, и думала о том, что пришла пора для первого публичного размещения акций компании в Лондоне, которое, она была в этом уверена, позволит привлечь не меньше миллиарда долларов, и еще думала о том юном матросе с прогулочного кораблика, который нечаянно прижался к ней у борта, а потом гасила окурков, обращившись к мужу и говорила: «Пора», помогала ему подняться и вела в спальню, и Боже правый, ей было больно слышать, как он покашливает и шаркает, покашливает и шаркает...

Тина просто не воспринимала некоторые смыслы жизни, как люди не воспринимают некоторые звуки, доступные зверям и насекомым, и когда доктор Казерини сказал, что Герман болен, она только кивнула, потому что и без того знала, что муж болен, и лишь спустя несколько мгновений до нее дошло, что доктор говорит о чем-то другом, о чем-то страшном, и тотчас из подсознания всплыли названия препаратов, которые Герман прятал от нее, и не успел доктор Казерини снова открыть рот, как она спросила: «Is it AIDS?», и врач кивнул. И опять кивнул, когда она спросила, болен ли Рафаэль. И еще раз кивнул, подтверждая, что Рафаэль болен тем же, чем Герман.

После встречи с врачом она спустилась на набережную — было время обеда — и заказала виски. Потом еще. Никогда в жизни она не пила так, как в тот день, но хмель ее не брал. Вечером она поплыла в Комо, пила там с каким-то седовласым мужланом Энтони, бывшим

военным моряком, у которого на мощном бицепсе был вытатуирован якорь с короной. Тина пила и рассказывала ему о Савве, старике Голубовском, о божественном Рафаэле, о муже и сыне, пила и пила...

— Ты веришь в Бога, Тина? — спросил Энтони. — Тогда молись, ничего другого Бог нам не дал.

— Не верю и не умею, — сказала она. — Трагедии — это не для меня.

— Потому они и трагедии, что никто их не хочет, — возразил Энтони.

Она понимала, что ему очень хочется затащить ее в постель, и ту ночь они провели вместе. И весь следующий день пили в его номере, пили и занимались сексом, и всю следующую ночь, а потом она встряхнулась, приняла душ и ушла, пока Энтони спал.

Когда Герман утром вышел на террасу, где Тина пила кофе, он все сразу понял.

— Доведу до конца размещение акций и вернусь к вам, — сказала Тина. — Совсем вернусь. Ты прав, жизнь одна...

Он с трудом, преодолевая боль, опустился на колени и положил голову на ее руки.

Тина погладила его по голове, и впервые в жизни у нее сами собой потекли слезы.

Она вернулась в Москву, довела до конца размещение акций на Лондонской бирже, что позволило компании привлечь около миллиарда долларов, и подала в отставку. За полчаса до Нового года объявила о своем уходе, усидела в комнате отдыха, и там ее жестоко изнасиловали

трое мужчин в масках: «Ты знаешь, за что». Конечно, она не знала, за что, но понимала, что за дело. Теперь она спала в своем доме в Новом Маврине и плакала во сне, прекрасная, бесстрашная и бессмертная...

Будильник прозвенел в пять тридцать.

В шесть тридцать она выехала из Нового Маврина, добралась до кольцевой автодороги и взяла на запад, чтобы потом свернуть на трассу М-2. Навигатор показывал кое-где впереди небольшие пробки, но ничего серьезного, а значит, часа за четыре — от силы за пять — она без спешки одолест триста километров и к полудню будет в родном городе.

Словосочетание «родной город» обычно вызывало у нее усмешку, но не в этот раз. Пусть будет родной, в конце концов сколько лет прошло с той поры, как она уехала в Москву, подальше от матери, которую она презирала, и от Саввы, которого ненавидела. Теперь мать мертва и, наверное, лежит в гробу на столе в тесной гостиной, где с низкого потолка свешивается пластмассовая люстра «каскад», и ее висюльки чуть не касаются носа покойницы. А Савва — безногий Савва ползает по полу на своих обрубках, пьет самогонку, курит какую-нибудь дрянь и плачет. И сейчас, думая о них, Тина не испытывала к ним ни презрения, ни ненависти, как будто все было не с ней: и рыхлый Савва, наваливающийся волосатым животом на девочку, которой только исполнилось двенадцать, и жалкая мать, держащая дочь за пальчик и шепчущая ей на ушко всякие глупости про любовь, и их страх, заставлявший покупать Тине лучшие вещи, — все

это было да сплыло. Теперь можно было признать, что после пятнадцати ласки Саввы нет-нет да и доставляли ей удовольствие... темное удовольствие, которое потом она разделила со светлым Рафаэлем, ее божественным мужчиной, который пылал одним жаром с нею и дрожал одной дрожью...

Мысли ее вернулись к Рафаэлю-младшему, к билету до Милана, к вилле «Тина», где ее ждали два ее самых любимых и самых несчастных человека. Она будет рядом с ними, пока они не угаснут. Музыка, книги, вино, неспешные прогулки по берегу, вечерние тени, сливающиеся с ночью, северный ветер, бескостные объятия, плоть к плоти, прах к праху...

А что потом? Ответа у нее не было.

Машины на трассе замедлили ход, объезжая место аварии.

Тина увидела справа на обочине мужчину в окружении полицейских, стоявшего на коленях у носилок, на которых лежала маленькая женщина, и вспомнила вдруг, как лет, наверное, в тринадцать она порезала пятку на реке, и Савва взял ее на руки и понес домой. До дома было далеко, но Савва не жаловался. Он нес ее на руках и бормотал: «Ты ж моя бедная... ну потерпи... сейчас придем, мама промоет рану, а потом приготовит что-нибудь вкусненькое... хочешь молока с шоколадной крошкой? Или мороженого? Я сбегаяю...» Она полулежала на его сильных руках, обхватив его за шею и вдыхая запах его пота, и чувствовала себя дочерью этого мужчины, а он вел себя как отец, а вовсе не как любовник, и она не ду-

мала о его волосатом животе, ей было немножко жалко Савву, который нес тяжеленькую девочку домой, и ей было приятно, что он нес ее на руках, и порезанная пятка не так саднила, а кровь запеклась, пока они добирались до дома... и сейчас, вдруг вспомнив об этом, она испытывала даже нежность к Савве... А еще она вспомнила, как мать смотрела на нее, когда увидела дочь в платье для выпускного вечера, — смотрела на высокую, стройную Тину, такую взрослую и такую красивую в этом платье с небольшим декольте, обшитым серебряной ниткой...

И чтобы избавиться от этих воспоминаний, она стала думать о том, как они, мать и Савва, распоряжались деньгами, которые она им регулярно посылала. Это были немалые деньги, но эти двое то вкладывали их в какую-нибудь финансовую пирамиду, то давали в долг под проценты, но не получали назад ни долга, ни процентов, то покупали несколько ящиков лучшего французского коньяка, который оказывался самогоном, подкрашенным луковой шелухой, то тратили все на лотерейные билеты, то обзаводились надувным бассейном, а потом не знали, что делать с этой горой заплесневелой резины...

До города оставалось километра два, когда появились таблички с надписью «Объезд», а потом и полицейские с жезлами, отправлявшие водителей налево, на старую дорогу, узкую и виляющую, выводящую напрямик к Сто-рублевому повороту, где почти тридцать лет назад погиб отец Тины, и его похоронили в пиджаке, карманы которого были набиты тыквенными семечками, проросшими весной, и после этого все пошло наперекосяк — Савва с

волосатым животом, профессор Голубовский с босыми ногами, Рафаэль, туго спеленутый полиэтиленовой пленкой, толстая слюнявая лесбиянка, тискавшая и лизавшая ее всю ночь в автобусе, пропахшем бензином и немытыми проститутками, киллеры, взорванные автомобили, Герман, дрожащей рукой отправляющий в рот тенофовир, юный Рафаэль с роскошными локонами, ниспадающими на плечи, Брамс, холодный тивано, тень к тени, прах к праху, и слезы снова потекли у нее из глаз, когда навстречу, едва удерживаясь на обледенелой поверхности, выскочил с ревом громадный лесовоз, и она крутанула руль вправо, тяжелая машина подскочила на высоком снежном валу и, перевернувшись на бок, со скрежетом поползла к замерзшему болоту, уперлась бампером в бревно, замерла, и кричащая от страха и отчаяния Тина повисла на ремнях, прижатая к спинке сиденья подушкой безопасности...

Ее вытащили из кабины, дали глотнуть водки, кто-то сказал, что машина почти не пострадала, ободралась немножко, но не сильно, вот и все, однако надо бы показать ее Соломину, он в этом деле мастак, в этих дорогих машинах никто не разбирается лучше него, может, что-то с рулевым, может, с тормозами, надо показать Соломину, не пожалее, Тина вызвала эвакуатор, машину увезли, полицейские подбросили ее до города, высадили у магазина на Садовой, где она купила водки, хлеба, консервов, колбасы, ей помогли надеть тяжелый рюкзак, и она пошла к дому, морщась от боли в колене, пошатываясь и отступаясь...

Она думала о том, что через два дня, сразу после похорон матери, улетит в Италию, на озеро Комо, встретится с Германом и Рафаэлем, с мужем и сыном, с обреченными, которых она любила, как не любила еще никого, и эта любовь — она знала это, знала — поможет ей пережить их угасание и уход, примирит с утратой, с пустотой, с жизнью среди теней, и, войдя в крохотную прихожую, поморщилась от запаха гуталина, нафталина и грубого табака, дым в комнате плавал слоями, тускло горела лампочка в торшере, и тускло блестел лоб матери, лежавшей среди бумажных цветов в гробу, который стоял на столе под люстрой «каскад», и тут она остановилась, услышав шарканье, повернула голову и увидела Савву — он полз к ней на своих обрубках, мотая лысой головой, и жидкие сальные его седые пряди мотались из стороны в сторону, подполз, уткнулся лбом в ее колени, глухо рыдая, содрогаясь, жалкий, вонючий, ничтожный, и она, прекрасная, бесстрашная и бессмертная, совершенно растерянная, сделала то, чего не мог подсказать ее ум и к чему не могло подтолкнуть ее сердце, — положила на его потную голову руку, дрожащую свою руку, тяжелую тяжестью человеческой, какова тяжесть и Ангела...

Особое чувство

На поминках Верочка впервые в жизни выпила водки.

Гостей было немного — ее родня и друзья Игоря, покойного мужа.

Верочке было не по себе. Неловкость усугублялась тем, что на похороны она надела слишком короткое платье, и мужчины глазели на ее длинные стройные ноги.

Все жалели двадцатидвухлетнюю вдову — яркие светло-зеленые глаза, большой рот с припухшими губами, пепельные волосы до плеч — и родителей Игоря, потерявших за пять лет обоих сыновей. Гости гадали, за кого Верочка выйдет замуж в следующий раз — за Олега или Тимура, которые после смерти Игоря стали совладельцами его бизнеса.

Молчали только Ксения Ивановна и Татьяна, мать и старшая сестра Верочки: для них и Олег, и Тимур были такими же бандитами, как и Игорь.

В кафе было душно, и Верочка обрадовалась, когда застолье завершилось и все вышли на улицу.

Ксения Ивановна предложила пожить пока у нее, но Верочке хотелось побыть одной.

Олег поймал такси, попытался на прощание поцеловать Верочку в щеку, но она увернулась.

Дома заперла входную дверь на все замки, сняла парик, приняла душ, выпила горячего молока и легла спать, завернувшись в одеяло с головой.

На первом курсе медучилища она вышла замуж за Игоря Гореславского.

Когда они познакомились, ему было двадцать девять. При советской власти он был секретарем райкома комсомола, потом занялся бизнесом. Двухметровый, атлетически сложенный, красногубый, с глазами навывкате, веселый и злой, Игорь источал ядовитое обаяние, перед которым Верочка не могла устоять. Он дразнил ее, называя самочкой, темной дурочкой, смеялся над ее стихами — каждый стишок начинался с одического «о»: «О, дождь», «О, желтая листва» и все в таком роде, и обещал в первую же ночь выбить из нее постыдный стыд, которым Верочка была отравлена с детства. Первая ночь случилась на первом же свидании — Верочка ничего не могла с собой поделать, впала в ступор, когда он принялся решительно раздевать ее, а потом повиновалась каждому слову и каждому желанию Игоря, который вел себя с нею как мясник, свежую скотину на бойне.

Через год родила девочку.

Когда дочка начинала кричать, Игорь бил жену, и она в халате на голое тело, босиком, с ребенком на руках спа-

салась у соседей. Однажды Игорь так избил ее, что она оглохла на правое ухо.

На пару со старшим братом Игорь продавал наркотики, а когда брата застрелили конкуренты, занялся другой торговлей — в его магазинах и киосках круглосуточно можно было купить хлеб, сигареты, презервативы, рыбные консервы, соки в картонных коробках, конфеты, даже игрушки. Но самую большую прибыль приносила, конечно, водка.

Игорь никогда не расставался с пистолетом ТТ, носил спортивные штаны и куртку-косуху, разъезжал по городу в «москвиче», лопавшемся от громкой музыки. В конце июля он отправился на встречу с друзьями и пропал. Нашли его только через две недели. Спасатели вытащили из Пахры изрешеченный пулями «москвич», к рулю которого был прикован наручниками Игорь — лицо его было объедено рыбами.

На похороны Верочка надела черный парик, который превратил бледно-розовую красавицу в жгучую вамп.

Через три часа она проснулась.

Наверху было тихо — там жила старуха Катя, существо дикое и непомерное. Всю жизнь она работала обходчицей на железной дороге, похоронила двоих мужей, но так и осталась бездетной. Огромная, костлявая, в прямом черном пальто до пят, в мужских ботинках, зашнурованных шпагатом, с папиросой в зубах и с тощей овчаркой на поводке, она целыми днями бродила по городку и стонала, а по субботам покупала в деревне живых кур, рубила им головы топором в кухне — от этих ударов

содрогался весь дом. Овчарка с хрустом, с урчанием пожирала куриные головы и громко фыркала, когда перья попадали в нос.

Снизу доносилась тихая музыка — сосед Николай Иванович Сосновский, умиравший от рака, слушал Генделя. Вот уже полгода он не выходил из дома, лежал в маленькой комнате, обложенный подушками, слушал музыку и улыбался бескровными губами.

Когда-то Николай Иванович был капитаном дальнего плавания, бесстрашным моряком, мощным красивым мужчиной, любимцем женщин, а теперь он радовался, когда без посторонней помощи мог добраться до туалета.

Толстенькая усатая жена Ия самоотверженно ухаживала за ним, кормила с ложечки, спала рядом, на полу. Она давно оплатила и место на кладбище, и гроб, который ждал своего часа в гараже и служил временным хранилищем для банок с вареньем. По воскресеньям Ия встречалась с мужчиной, за которого собиралась выйти после похорон, но пока соблюдала приличия и закрывала лицо носовым платком, когда занималась с любовником сексом.

Спасаясь от побоев, Верочка чаще всего пряталась у Сосновских, плакала на груди у Николая Ивановича, и всякий раз он терпеливо ее выслушивал. Они пили чай, болтали о том о сем, иногда Николай Иванович рассказывал о тех странах, где ему довелось побывать.

Верочка никогда не рассказывала Игорю об этих чаепитиях и разговорах. Между ними, между нею и соседом, ничего не было, никакой тайны, а если что и было, так

это тепло, которое вызывал у Верочки бархатистый голос Николая Ивановича, но ей не хотелось, чтобы муж знал об этом тайном тепле.

Верочка помогала жене Николая Ивановича — научила ее ставить уколы, капельницы, иногда читала больному вслух — у соседа было много книг, которые он не прочел раньше.

Она замерла, прислушалась.

Нет, ей не показалось — Николай Иванович действительно стонал.

Быстро оделась и побежала вниз.

Дверь была открыта, музыка звучала слишком громко, Николай Иванович стонал, в комнате пахло аммиаком. Некогда было выяснять, где Ия и почему она оставила мужа одного. Открыла окно нараспашку, быстро сделала укол, поставила капельницу, и через полчаса Николай Иванович пришел в себя.

Верочка напоила его мятным чаем, рассказала о том, как хоронили и поминали Игоря, как Олег пытался ее поцеловать, а она увернулась, и какое впечатление произвела на всех, надев черный парик.

— Пора нам с тобой прощаться, Верочка, — сказал он с улыбкой. — Похоже, пора.

— Да ладно вам, Николай Иванович... хотите еще чаю?

— Пора, Верочка, пора...

Она растерялась, потому что не знала, что говорят в таких случаях.

— У меня к тебе прощальная просьба...

— Конечно, Николай Иванович!

— Разденься, Верочка, — сказал он. — А чаю не надо.

Она уставилась на него, и Николай Иванович повторил:

— Разденься. Просто разденься.

Верочка спросила шепотом:

— А если войдут?

— Не войдут.

Она стянула через голову платье, расстегнула лифчик, сняла трусики, села на стул, по коже бежали мурашки, замерла, не сводя взгляда с мужчины.

— Встань, пожалуйста...

Встала, выпрямилась.

— Дай руку, — сказал он.

Она протянула руку.

Николай Иванович сжал ее пальцы своими, влажными и холодными.

— Как же хорошо, Верочка, — сказал он. — Как хорошо...

Верочке стало жарко.

Она чувствовала, как медленно, все медленнее бьется его сердце, а ее сердце билось все чаще и сильнее. В груди ее образовалась трепещущая пустота, словно ей было страшно, но это был не страх, а что-то другое, какое-то другое чувство, но Верочка не понимала, что это за чувство, и пыталась думать о том, что чувствует Николай Иванович, который держал ее за руку и не сводил взгляда с ее груди. Его холодеющая рука и ее горячая рука соединили их на несколько минут, и они словно замерли в

каком-то промежутке между жизнью и смертью, на головокругительной высоте, его рука вдруг дрогнула, и эта дрожь передалась ей, ее пальцам, ее телу, и на какую-то секундочку смерть, жизнь, любовь, все эти выси и все эти бездны стали одним целым, одной жизнью и одной любовью, одним бессмертием, а потом его рука дрогнула в последний раз, Николай Иванович закрыл глаза и замер.

Верочка осторожно высвободила свои пальцы, накрыла Николая Ивановича одеялом, быстро оделась и на цыпочках выбежала из комнаты.

Дома открыла холодильник, выпила водки — второй раз в жизни, перевела дух, но пальцы все равно дрожали. Легла под одеяло. Ее трясло. Ничего более ужасного, более невероятного, ничего более странного в ее жизни не случилось. Это было чудо. Теперь она знала, что такое чудо. Теперь она точно знала, что это такое. Подтянула ноги к груди, согрелась, заснула, но пальцы все равно дрожали.

Через полгода она вышла замуж за Олега, а когда его убили, стала женой Тимура, родила еще троих детей. Когда Тимур бросил ее и скрылся, ей пришлось продать квартиру и загородный дом, чтобы рассчитаться с кредиторами. Несколько лет жила с детьми у старшей сестры Татьяны, которая держала маленькое турагентство. Потом устроилась медсестрой в частную клинику. У нее были мужчины, но они относились к ней только как к красавице, то есть как к дурочке, и прочных отношений не складывалось. В тридцать восемь у нее обнаружился рак молочной железы — пришлось удалить грудь. После

автокатастрофы, в которой младшая дочь лишилась ног, Верочка попыталась покончить с собой, но ее спасли.

Отчаяние охватывало ее все чаще, но всякий раз, когда казалось, что жизнь зашла в тупик и не стоит продолжать эту муку, она запиралась в ванной, подставляла руку под холодную воду, и ее вновь захлестывало то странное, то особое чувство, которое она пережила, держа за руку умирающего соседа, а потом в роддоме, когда ей принесли ее новорожденного сына, а потом в тамбуре ночной электрички, когда бандит поставил ее на колени и приставил к горлу нож, а потом в больнице, когда врач откинул одеяло, чтобы показать ей дочь с обрубками ног, а потом в церкви, когда на следующий день после похорон старшей дочери услышала голос священника: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ!», и она опять оказывалась на головокружительной высоте, в пустоте, одна, и все это — все эти выси и все эти бездны, все эти концы и начала снова становились одним целым, одной жизнью, одной любовью, и пустота начинала трепетать, роиться, кипеть, мерцать, словно в ней вот-вот вспыхнет свет, и хотя свет так и не загорался, а только обещал, Верочка переводила дух, вытягивала перед собой руки и улыбалась сквозь слезы, глядя на свои дрожащие пальцы...

Девочка со спичками

Андрей Истомин и ухом не повел, когда рядом с ним разорвалась мина. Даже не поморщился. Когда его несли в лазарет, умножал в уме пятизначные числа. По возвращении из Афганистана узнал, что жена ушла к другому, вздохнул и включил телевизор — любил передачу «В мире животных». Под огнем или на вечеринке, в кругу друзей или на борцовском ковре он всегда оставался невозмутимым.

После увольнения из армии в звании майора он на пару с младшим братом занялся бизнесом — торговал турецкими тряпками, голландскими цветами, потом компьютерами. С помповым ружьем охранял по ночам свой магазин в подвале, дрался с рэкетирами, питался бутербродами с подозрительной колбасой, запивая их подозрительной водкой, зарабатывал деньги и терял деньги, но никогда не впадал в отчаяние. Даже когда случился дефолт и фирма разорилась, он не изменился в лице. Даже когда родной брат украл всю их долларовую заначку и бежал за границу, Андрей остался невоз-

мутим. Но когда его жена покончила с собой, он вдруг растерялся.

Катя была деревенской красавицей, училась на бухгалтерских курсах. Через четыре месяца после свадьбы она почувствовала себя плохо, в больнице сказали, что у нее саркома. Пять дней она молчала, а на шестой разделась догола и выбросилась из окна одиннадцатого этажа. Ее смерть была ужасна, но еще ужаснее было то, что голая Катя лежала на асфальте и любой прохожий мог плясать на нее, пока тело не увезли. Андрей не мог понять, зачем она разделась, почему переступила эту черту.

— Стыдоба-то какая, — сказала теща, когда Андрей рассказал ей по телефону о смерти Кати. — Вези-ка ее сюда, здесь похороним, только никому не рассказывай, что она померла нагишом.

Тещу Андрей никогда не видел — на свадьбу она приехать не смогла: «На мне сын да скотина».

Продав остатки товара и рассчитавшись с хозяином квартиры, Андрей поставил гроб с телом жены в кузов грузовичка и выехал из Москвы.

До деревни было километров триста по шоссе, а потом около двадцати по лесным дорогам.

Был канун Нового года, смеркалось, узкое обледеневшее шоссе заметало снегом, гроб в кузове погромыхивал, когда грузовичок подпрыгивал на выбоинах, Андрей курил, глядя в темноту.

Он никогда не боялся будущего и не копался в прошлом. Жил в согласии с собой, хотя согласие это носило характер подчас взрывоопасный. Но после смерти жены

в его мире что-то треснуло, и из трещинки потянуло такой тьмой, такой стужей, таким ужасом, с какими он еще никогда не сталкивался. Дело было не в самоубийстве жены, не в том, что молодая женщина отказалась от борьбы, а в том, что она выпрыгнула из окна голышом. Он и себе не сразу признался, что дело было именно в этом: так это все было дико, нелепо, даже комично, пусть и дьявольски комично. Разумеется, она была не в себе, только этим и объясняется ее поступок. Но эта мысль теперь казалась недостаточной, а другой не было, потому-то мир и треснул, и из этой чертовой трещинки тянуло мраком и холодом, словно из какой-то древней пещеры, где в смрадном мраке возятся безглазые чудовища, пожирающие друг дружку, чешуйчатые, покрытые ядовитой слизью бессмертные монстры, само существование которых — даже знание о них — отравляет мир, лишая его смысла...

Когда он свернул на лесную дорогу, снегопад усилился.

Машина то проваливалась в глубокую колею, оставленную лесовозами, то подскакивала на гнилых бревнах, вмерзших в землю.

Внезапно раздался громкий треск, и поперек дороги рухнула ель. Андрей затормозил, вышел из машины, огляделся, сделал шаг к обочине — нога провалилась по колено в снег. У него не было с собой ни пилы, ни топора, чтобы убрать дерево, а придорожные канавы тут были слишком глубокими для его грузовичка. Вернувшись в кабину, достал карту и понял, что придется возвращаться

на шоссе и километров через десять снова сворачивать в лес, чтобы добраться до деревни по другой дороге, которая, похоже, ничем не лучше этой. Убрал карту в бардачок, попытался сдать назад — машина осела, колесо во что-то уперлось.

Андрей снова выбрался из машины и справа за деревьями увидел три мутных огня, которые приближались к дороге. Через несколько минут из снежной круговерти выступили человеческие фигуры — трое мужчин с фонарями в руках шли к машине, проваливаясь в глубокий снег. Они были низкорослыми, широкоплечими, в шапках с опущенными наушниками.

— Здорово, мужики, — сказал Андрей, когда троица выбралась на дорогу. — Помощь нужна — застрял...

Один подошел к заднему борту машины, пнул сапогом колесо. Второй протянул руку, и когда Андрей пожал ее, третий ударил его чем-то по голове. Андрей навалился на того, что был ближе, они упали боком, что-то хрустнуло, и в тот же миг Андрей потерял сознание.

Очнувшись, он увидел перед собой женщину в ватнике, подпоясанную широким кожаным ремнем. В руках у нее была палка, утолщавшаяся книзу. На голове у женщины, поверх платка, была надета шляпа с узкими полями. Котелок, вспомнил Андрей, котелок как у Чарли Чаплина. Левая щека у женщины была темнее, чем правая.

— Хватит, Тусик! — крикнула женщина. — Иди сюда!

Андрей повернул голову и увидел в нескольких шагах от себя девочку в шубке, которая однообразно била толстой палкой по сугробу, из которого торчали чьи-то ноги.

— Кому говорю! — крикнула женщина.

Девочка с палкой подошла, поправила остроконечную шапку, сползавшую на лоб, шмыгнула носом.

— Что в кузове? — спросила женщина.

— Катя в кузове, — сказал Андрей. — Жена.

— Скажи, чтоб сюда шла.

— Она мертвая. В гробу.

Женщина встала на колесо, подпрыгнула, заглянула в кузов.

Девочка подошла ближе, вытирая лицо варежкой.

— Идти можешь? — спросила женщина, спрыгивая на снег.

— Нет, — сказал Андрей. — Кажется, нет.

— А ты не неткай, а попробуй.

Он попытался двинуться — правую ногу пронзила острая боль.

— Ладно, — сказала женщина, поворачиваясь к девочке. — Тащи сюда санки.

Девочка скрылась в темноте.

— Вижу, и ботинки с тебя они сняли...

— Откуда они такие?

— Из Колчина, — сказала женщина. — Колчинские они, шпана. Вечно под ногами путаются. Ну да теперь не будут. Этот точно не будет. — Кивнула на сугроб, из которого торчали ноги. Высморкалась в снег. — Куда ехал-то?

— В Красное. Там теща живет. Щурцова Марина — слышали?

— Слыхала, — сказала женщина. — Но знать не знаю.

Девочка притащила большие санки, на которых лежал мешок.

— Ближе, — приказала женщина, подхватывая Андрея под мышки. — А ну-ка!

Она приподняла его, и Андрей снова потерял сознание.

Несколько раз он приходил в себя и опять терял сознание, когда падал с санок, заваливавшихся на кочках. В памяти остались заснеженные ели, широкая спина женщины, остроконечная шапка девочки.

Наконец санки остановились.

Андрей открыл глаза.

Вокруг было темно, пахло навозом, снег больше не падал на лицо.

— Ни щепочки кругом, — сказала женщина, выходя из темноты с фонарем в руке. — Костра не развести.

Когда она приблизилась, Андрей понял, почему ее левая щека была темнее, чем правая: половина лица у нее заросла седым волосом.

— Где мы? — спросил он.

— В телятнике мы, — сказала женщина, опускаясь на корточки. — Тусик, иди сюда, здесь солома...

Девочка вышла из-за спины Андрея и села рядом с женщиной.

— Почему Тусик? — спросил он.

— Светка она, — сказала женщина. — Мы ее Светусиком зовем — вот и Тусик.

— Дочь?

— Внушка. Дочь в Москве шлындает.

— Работает?

— А хер ее знает, что она там делает.

— А где живете?

— В Тормасове. Переждем снег и пойдем, не бойся.

Тут километров пять через поле. Ноги мерзнут?

— Терпимо. А живете чем? Огородом?

— Живем...

— Народу в Тормасове много?

— Я да Тусик.

— А эти бандиты...

— Дураки они, а не бандиты.

— Я хотел сказать, если они вернуться...

— И им достанется.

— А если вам?

— Ну, значит, нам.

Она говорила спокойно, почти равнодушно.

— Есть хочешь?

— Нет, спасибо.

— Ладно, снег поутихнет — пойдем.

Ровно и тихо выл ветер, шуршал снег, падавший на шиферную крышу, болела нога, мерзли пальцы, ворочалась на соломе женщина с волосатой щекой...

Андрей лежал с закрытыми глазами на санках, боясь пошевелить правой ногой, прислушиваясь к вою ветра над темной равниной, лежал посреди русской заснеженной пустыни, рядом с женщиной, которая только что убила человека или даже двоих, рядом с девочкой, которая старательно добивала раненого, чьи ноги торчали из сугроба, рядом с людьми, которые просто выживали,

как умели, как на войне, и в случае чего могли вот так же убить и его, но ему не было страшно — он вдруг понял, понял даже не умом, а всем составом своим, что ничего плохого больше не будет, нет, не будет, что все будет так, как должно быть, а должно быть хорошо, и эта странная мысль, а точнее, это странное чувство делало его равнодушным к боли, холоду, и он больше не вспоминал о жене, прыгнувшей голышом из окна, и не думал о том, что будет завтра, — он словно парил над землей, глядя на себя с высоты, на свое огромное беспомощное тело, распростертое в грязном сарае, и вся боль, и вся радость этого мира мерцала странным светом, озарявшим его жизнь, его душу, его легкую и бессмертную душу...

Он открыл глаза — перед ним на корточках сидела девочка в остроконечной шапке. Она встряхнула коробку, чиркнула спичкой и поднесла огонек к его правой ноге, к мерзлым пальцам, и Андрей почувствовал слабое тепло и снова закрыл глаза, а девочка опять встряхнула коробку, чиркнула спичкой, и вновь его пальцы ощутили тепло. Он улыбнулся, глядя на девочку сквозь ресницы, глядя на ее тупенькое маленькое личико, тонкие узловатые пальцы, державшие спичку, и опять впал в дрему, не переставая удивляться той легкости, которую обрело его тело, и радоваться той радости, которая снизошла в его душу, и подумав, что так, наверное, бывает перед смертью, и наконец уснул под ровный вой ветра и шуршание снега...

Женщина разбудила его под утро.

— Покурим и пойдем, — сказала она, вытряхивая из картонной плоской коробки две сигареты. — Будешь?

Они закурили.

Женщина села на пол, в солому, потрогала ногу Андрея.

— Она тебе носок прожгла спичками, — сказала женщина. — Дурочка ты, Тусик.

Девочка не ответила.

— Почему она не разговаривает?

— Слов не осталось — все выплакала.

Андрей вопросительно посмотрел на нее.

— Ну пошли, что ли, — сказала женщина, поднимаясь. — Пойдем, Тусик. Сейчас через поле, потом мимо Перестройки, а там и дома.

— Что за Перестройка?

— Кладбище наше.

Женщина взяла веревку, потянула, санки закрипели полозьями по камню, подпрыгнули на пороге — Андрей закусил губу — и легко заскользили по снегу.

Было еще темно, падали редкие снежинки, далеко впереди чернел лес.

Женщина остановилась, глубоко вздохнула, перекрестилась.

Девочка протянула Андрею коробок со спичками, он зажал его в руке.

— Ну, — сказала женщина, — поехали.

Через три часа они добрались до деревни. Затопив печку и оставив Тусика присматривать за Андреем, женщина ушла. Вечером приехала Марина Щурцова, которая увезла зятя в Красное, а оттуда в райцентр, в больницу, где Андрею сделали операцию на бедре. Марина с со-

седами вытащила из леса грузовичок с гробом дочери, которую похоронили на сельском кладбище. Андрей так никогда и не избавился от хромоты. Через год он женился на Марине, которая была на восемь лет старше. Они выращивали на продажу свиней, а потом построили небольшую ферму, закупили быков-геррефордов и стали продавать мясо в московские рестораны. Марина в свои сорок девять отважилась родить — семья прибавилась девочкой. Возвели новый дом, расширили дело. Сын Марины после службы в армии вернулся домой, женился, он и жена работали рядом с Андреем и Мариной на ферме. Они сражались с бандитами и чиновниками, заготавливали корма для скотины, охраняли ферму по ночам, растили детей, чинили машины, гнали самогон — дел всегда было невпроворот, и Андрей все никак не мог выбрать время, чтобы навестить женщину с волосатым лицом — местные звали ее Собачьей Щекой — и ее внучку Тусика. Вроде бы жили рядом, рукой подать, а съездить в Тормасово — некогда. Иногда, в редкие минуты, когда он оставался один, наедине с собой, Андрей доставал из кармана коробку спичек, подаренную Тусиком, встряхивал, улыбался, вспоминая ту страшную зимнюю ночь, погромохивание гроба в кузове грузовичка, женщину в котелке, опирающуюся на дубину, которой она убила человека, ее ровный голос, девочку в остроконечной шапке, ее маленькое тупенькое личико, горящую спичку в ее руке, и ту радость, которая наполнила вдруг его душу, легкую и бессмертную, и снова встряхивал коробок у уха, и снова, и снова...

Длинные тени

Эту девушку Муратов заметил вечером в ресторане отеля. Она сидела одна, склонившись над тарелкой и исподлобья поглядывая на компанию итальянцев, которые весело галдели за соседним столиком. Заказала вино, взяла бокал за ножку узловатыми тонкими пальцами, долго и недоверчиво приюхивалась, прежде чем сделать глоток. У нее было узкое бледное лицо, длинный нос с горбинкой, волосы цвета желтой меди и почти бесцветные губы. Время от времени она поживалась, как будто зябла, хотя на ней были пиджак и юбка из плотной ткани.

Муратов равнодушно разглядывал ее. Некрасивая, скованная, одинокая, холодная, страдающая паранойей провинциалка, вечно озабоченная тем, что думают о ней окружающие. Весь год копила деньги, экономя на еде, чтобы съездить за границу. Ей двадцать пять, а то и тридцать. Зовут ее, конечно, Эльвирой или Жанной. Хочет замуж, но не за соседа-автомеханика, а за Джонни Деппа, хотя никогда в этом не признается. Работает кас-

сиром в банке или мелким клерком в государственном учреждении. Ни подруг, ни друзей. Живет с родителями в квартирке с турецким ковром на стене, по вечерам стирает колготки, читает дамские романы и, как всякая русская женщина, любит сладкое вино.

Часа через два Муратов встретил эту девушку в компании двух потных толстух у магазина в центре города. Толстухи разглядывали шубы, вывешенные в витрине, и громко переводили цены в рубли, а девушка стояла поодаль, прижав к животу маленькую сумочку, и смотрела на огромный платан, крона которого была вызолочена уличным фонарем.

Муратов прогулялся по набережной до ротонды, уже окруженной зеваками.

Как всегда в это время, здесь выступал оркестр, и прекрасная пышка Ниночка в красном открытом платье до пят исполняла «Хабанеру», приподнимаясь на цыпочки и так широко открывая рот, что виден был ее трепещущий язык.

Когда-то она исполняла брючные партии — Ваню в «Сусанине» или Ратмира в «Руслане и Людмиле», но однажды все бросила и вот уже пятый год разъезжала по средиземноморским островам, выступая перед туристами.

Между тротуаром и ротондой на складном стульчике под деревом совершенно неподвижно сидел маленький старичок, тепло одетый, застегнутый на все пуговицы, лысый, в берете, с изумленным взглядом, устремленным

к небу, и широко открытым беззубым ртом, в который подвыпившие туристы иногда бросали монетки.

Закончив выступление, Ниночка пробралась через толпу, придерживая подол кончиками пальцев и отдуваясь, подхватила Муратова под руку, он поцеловал ее в волосы, и они отправились в ресторан.

Когда сели за стол, Ниночка достала из сумочки конвертик.

— Обещанное, — сказала она. — Пианист совсем еще мальчик, но какое он чудо! Это, конечно, в зале надо слушать, а не с флэшки...

Подошла официантка, приняла заказ.

— Павел Николаевич, — сказала она, раскладывая на столе ножи и вилки, — ваш заказ ждет.

— После ужина, Наташа, хорошо?

— Ага, я скажу Джеку.

— Все плохо? — спросила Ниночка, кладя свою пухлую ручку на его кулак.

— Терпимо, — сказал он. — Ты надолго?

— Завтра улетаю на Крит.

— Когда?

— В девять надо быть в аэропорту.

— Может, для начала по бокалу коккинали? — предложил он.

Ниночка плотоядно облизнулась.

— Я бы сейчас узо выпила. Холодненького узо.

И от нее с особенной силой запахло потом.

После ужина, расплатившись с Джеком за таблетки, Муратов повел Ниночку в отель.

Он занимал большой номер с террасой, с которой по-верх крыш соседних домов было видно Эгейское море — почти черное, с белыми гребнями пены.

— Я в душ, — сказала Ниночка. — Вспотела, как жница на барщине.

Муратов вышел на террасу, вставил флэшку в компьютер, налил в стакан бренди, закурил и сел в кресло.

Зазвучала музыка — это был двадцатый концерт Моцарта для фортепиано с оркестром ре минор.

Ниночка, завернутая до груди в полотенце, с мокрыми волосами, неслышно подошла, села рядом, отпила из его стакана, взяла его сигарету, затянулась.

— Боюсь даже спрашивать, о чем ты думаешь, — сказала она, когда отзвучала музыка.

— О Татьяне, — сказал он. — Лет двадцать назад, когда подъезды в Москве не закрывали бронированными дверями, к нам зашла погреться одна нищенка, Татьяна. Никогда не видел, чтобы она побиралась, но говорили, что сильно бедствует... Была ночь, мороз доходил до тридцати... Жильцы дома облили ее водой и выгнали из подъезда на улицу. Она замерзла насмерть в нашем дворе. А через два дня я столкнулся на крещенской службе с той бабой, которая облила водой нищенку, — ты бы видела, какое лицо у нее было, у этой бабы... какой свет был в ее лице... она внимала Христу и плакала... Вот тогда я впервые и задумался о том, чтобы уехать из России навсегда...

— Но не уехал...

Ниночка села на подлокотник кресла, прижалась к Муратову.

— Это все Моцарт, — сказала она. — Чертов Моцарт...

Он промолчал.

— Хочешь — просто ляжем спать?

— Нет. — Он встрепенулся. — Вот уж нет! Я превосходно себя чувствую!

— Тогда... — Она томно улыбнулась, повернулась к нему спиной, оперлась руками о низкую спинку дивана, выгнула спину и, похлопывая себя по пышным ягодицам, промурлыкала: — Добро пожаловать домой, любимый...

Утром, посадив Ниночку в такси, он отправился на пляж.

Впереди на узкой улочке, круто спускавшейся от отеля к морю, он увидел девушку, на которую обратил внимание за ужином. В широкополой зеленой шляпе, сарафане и босоножках, она осторожно ступала по тротуару, держа в руке на отлете матерчатую сумку с торчавшим из нее соломенным пляжным ковриком.

Внезапно ветром с нее сорвало шляпу, которая взлетела вверх, перевернулась и упала к ногам Муратова.

Девушка с напряженным лицом ждала, когда он отдаст шляпу.

— Эвхаристо, — сказала она неуверенно.

— Паракало, — сказал Павел Николаевич. — Вы ведь на пляж? Можно составить вам компанию?

Она пожала плечами.

— Пляж здесь плохой, — сказала она. — И море ужасное.

— Эгейское море всегда бурлит, — сказал он. — Поэтому все ходят на Средиземное. Вон туда, к Аквариуму. Там и вода спокойная, и берег песчаный. — Протянул руку. — Павел Муратов. Павел Николаевич.

Поколебавшись, она неохотно пожала его руку.

— Диана...

По пути к Аквариуму Муратову только и удалось узнать, что Диана приехала из маленького города во Владимирской области, где работает в налоговой службе.

Она попыталась было устроиться на песке у воды, но Муратов уговорил ее перебраться на лежак, под зонтик, сочинив историю о бешеных деньгах, которые он выиграл в казино и должен как можно скорее потратить, иначе его ждет несчастье — таково поверье, а он из тех, кто верит в поверья, в судьбу, черта, сглаз и т. п.

Она смерила его хмурым взглядом — высокий, поджарый, мускулистый, бритоголовый, загорелый, уса́тый — и согласилась.

Долго снимала платье, долго поправляла закрытый купальник, долго копалась в сумке, наконец застелила лежак полотенцем, смазала руки и ноги кремом и легла.

Павел Николаевич предложил искупаться — Диана отказалась:

— Погреюсь пока, а то что-то зазябла...

Искупавшись, он посидел в кафе на краю пляжа, выпил пива, вернулся к Диане с мороженым. Она поотнекивалась, но вскоре сдалась.

Он ждал, что приглашение на обед Диану напугает, но она легко согласилась.

Они прошли мимо нескольких кафе, едва успевая уворачиваться от мужчин в белых передниках, которые бросались к ним с открытых террас, предлагая genuine Greek cuisine.

Впереди по тротуару бодро вышагивала сухопарая дама в бейсболке, за которой еле тащился квелый толстый муж. Когда они проходили мимо магнолий, дама командовала: «Нюхай, Гриша!», а оказывавшись под кроной эвкалипта, приказывала: «А теперь дыши!» Так они и шли за этой парой, которая то нюхала, то дышала, пока Муратова не окликнула официантка:

— Павел Николаевич, к нам? Пива? Рецины? Все из холодильника!

Муратов заказал себе водки, а Диане бокал рецины.

— В такую жару — водку? — Диана понюхала вино. — Смолой пахнет...

— В жару, — сказал Муратов, — обмен веществ у меня становится таким быстрым, что все яды выводятся из организма, не успевая убить. Как у таракана.

Диана покачала головой.

После обеда он поднялся в свой номер, опустил шторы, принял таблетку, лег и закрыл глаза. Он с раздражением думал о Диане, о ее рыхлой белой коже с синеватым отливом, о ее долгом теле, нескладном и неуклюжем, о ее плохо выбритых подмышках и ее закрытом купальнике, отороченном черным кружевом, не понимая, какого черта он взялся вдруг ухаживать за этой провинциальной барышней, не обладающей и сотой долей той красоты и

сексуальности, которой с избытком в Ниночке, и, наконец, лекарство подействовало, и он заснул...

Глубокий сон, контрастный душ и крепкий кофе вернули его к жизни.

А когда за ужином Диана спросила, не покажет ли он ей родосскую крепость, Муратов даже обрадовался.

— Прогуляемся пешком, — сказал он. — Отсюда до улицы Дьяку рукой подать, а по ней приятно пройтись до ворот крепости...

В крепости Диана взяла его под руку, боясь потерять в людском коловращении.

На этот раз она надела простой белый сарафан и вообще была не так скована, как утром.

— Вам нравится Родос? — спросила вдруг Диана.

— Нет, — сказал Муратов. — Нет у меня любимых городов, любимых писателей, любимой музыки... в каждом находится что любить, но и только...

— И с людьми так же?

— Хм... а давайте я вам покажу мечеть Сулеймана...

На следующий день они поднялись к храму Аполлона и амфитеатру. Потом съездили в Долину бабочек, побывали в Линдосе, на острове Сими, провели день на пляже Агия Агати...

Гуляя как-то по городу, Муратов заманил Диану в магазин и купил ей туфли на высоких каблуках — эти туфли преобразили ее.

В тот вечер он пригласил девушку в свой номер, и они допоздна пили вино на террасе, слушая музыку.

Диана вдруг заговорила о тошнотворно скучной жизни в провинциальном городке, о том, как мучительна неподвижность этой жизни и как, оказывается, легко попасть в лапы зла, пытаясь привести в движение эту жизнь, изменить ее...

Муратов слушал ее с удивлением, отмечая при этом, как изменилась Диана за эти дни — стала свободнее, смелее, легче, и эти ее морщинки на лбу, эта ее нескладность, узловатые пальцы, острые коленки — все это уже не бросалось в глаза, как прежде...

— А в России вообще очень легко попасть в лапы зла, — сказал Муратов, — потому что очень трудно сохранить независимость, не поддаться всеобщему движению против зла. На самом деле у нас живет всех движется мертвое, опасное, убийственное для личности. А зло лежит в тайне, дожидаясь, когда к нему сами придут, и всеобщее движение вернее всего ведет именно к злу, точнее, мы сами идем в ту заколдованную пещеру, где надеемся найти счастье, и попадаем в пасть зла... демоны любят толпу...

Она вдруг смутилась.

— Я говорила о личном, — сказала она. — Очень личном...

— Кажется, я тоже...

— Но я о себе, — сказала она, но продолжать этот разговор не стала.

На прощание она поцеловала Муратова в щеку.

Следующим вечером они гуляли по набережной, остановились поглазеть на маленького старичка, который

по-прежнему сидел на своем стульчике, застегнутый на все пуговицы, с изумленным взглядом, устремленным к небу, и широко открытым беззубым ртом, и тут к ним подошел Рикардо, испанец, руководивший оркестром, который выступал в ротонде, обнял Муратова, забормотал: «I am sorry... heartfelt condolences...», а когда понял, что Муратов ничего не знает, рассказал о Ниночке: она приехала в аэропорт Диагорас, подошла к стойке регистрации и упала замертво. Ее застрелили, пистолет с глушителем нашли потом в туалете, и было непонятно, как убийце удалось пронести в аэропорт оружие, а самого стрелка и след простыли...

— Павел Николаевич, — сказала Диана, — Павел Николаевич...

Он пошел в отель, никого и ничего вокруг не замечая, даже Диану, старавшуюся не отставать, даже чудачковатую семейную пару — опять эта пара шла впереди, и сухопарая жена в бейсболке командовала: «Нюхай, Гриша! А теперь дыши!», и Павел Николаевич машинально подчинялся ее приказам — втягивал носом запах магнолии и глубоко дышал, оказываясь под кроной эвкалипта, а потом поднялся к себе, налил стакан доверху, выпил не отрываясь, принял таблетку, выпил еще, закурил и тотчас погасил сигарету, лег на террасе, раскинувшись на широкой тахте, подвинулся, когда Диана легла рядом, обнял ее, сказал: «Я ведь приехал сюда умирать... а умерла она...», замер, затих с открытыми глазами, в которых стояли слезы...

Он приехал в Москву в девяносто первом, когда провало канализацию истории, и по ее ржавым трубам понесло новорожденных младенцев и мумии старых большевиков, идеи, памятники, маршальские звезды, гнилые помидоры, трупы проституток, соевые сосиски, кирзовые сапоги, порнографические журналы, мифы, бандитов с простреленными бритыми головами, правду, дынные корки, щепки, обрезки, шелуху, подонки и огрызки...

В городке с населением двадцать восемь тысяч человек, где он до того жил и работал, ничего не происходило, разве что из одиннадцати заводов закрылись семь, и он решил перебраться в Москву.

В столице все пылало, двигалось, менялось. На площадях свергали памятники, все улицы вели к храму, все люди хотели свободы. Новые газеты, журналы, издательства возникали каждую неделю. За пять-шесть лет выпускник провинциального журфака сменил одиннадцать мест работы. Правительственная газета, журнал «Меха и драгоценности», рекламный бюллетень, издательство, выпускавшее массовым тиражом Кафку, Фрейда и Чейза...

Ему было все равно, где работать, в правом издании или в левом, либеральном или национал-патриотическом: он занимался производством, выпуском газет и журналов, то есть в типографиях бывал чаще, чем на пресс-конференциях, на которых пришедшие к власти вторые секретари обкомов, младшие научные сотрудники, кавээнщики, агенты КГБ, диссиденты, киноактеры и фарцовщики рассуждали о будущем России и ее про-

шлом. Стоило советскому человеку открыть рот, как из него лезли идеи. Идеи, идеи, идеи... На самом деле все хотели денег. Все — и вторые секретари, и диссиденты, и агенты КГБ. В этом не было ничего плохого: лучше деньги, чем кровь. Но в те годы деньги редко доставались без крови.

Он тоже хотел денег, но его спасала трусость: он боялся ввязываться в авантюры. Потому и уцелел. Жену расстрелял из автомата на улице милиционер, рехнувшийся от передозировки, друга, занимавшегося поставкой компьютеров, убили подельники, брат, физик-теоретик, погорел на фальшивых деньгах и покончил с собой, все погибли, а он уцелел.

Однажды друзья — тогда у него были друзья — попросили отредактировать большое интервью с довольно молодым бизнесменом, который решил пойти в политику. Интервью предполагалось выпустить книгой. Прочитав текст, он попросил о встрече с бизнесменом и объяснил, что человеку, собравшемуся выдвигаться во власть из провинции, вряд ли стоит рассказывать избирателям о своей любви к французскому марочному коньяку, предложил фамилии друзей детства — Каца и Лифшица — заменить на Сергеева и Кузнецова, а также не упоминать о том, что герой не расстается с Библией, которую дочитал до триста семнадцатой страницы.

Собеседник оказался человеком неглупым. Они выпили, бизнесмен разговорился, вспоминая детство, юность, и стало понятно, что интервью будет жить, хотя и в другой форме.

Книга пользовалась успехом, ее хвалили за сдержанность, точность и ясность.

Через несколько дней ему позвонил миллиардер Д., пожилой человек, отошедший от дел: он хотел выпустить мемуары, но не знал, как подступить к этому делу. Он помог старику, и тот щедро его отблагодарил.

Хочешь соблазнить — выслушай.

Эту главную заповедь дьявола он хорошо усвоил. Умел слушать, подстраиваться под интонацию собеседника, вживаться в роль другого, и люди открывались ему.

У него были свои правила.

Он старался не связываться с ветеранами спецслужб и с киллерами, которые хотели привлечь внимание читателей к своей нелегкой судьбе. Он старался избегать тех, кто жаждал выглядеть в глазах окружающих хуже, чем на самом деле, а такие тоже встречались. Он старался не забывать о грани между домыслом и вымыслом и никогда не брался за сочинение дворянских родословных для новых русских, любивших позировать в рыцарских латах или плаще патриция.

Случалось, что общение с автором мемуаров осуществлялось через секретарей и помощников, но чаще это были долгие доверительные беседы с глазу на глаз за бокалом вина, без свидетелей. Иногда соавтор приглашал его к себе, и он неделями жил в богатом загородном доме, в лондонской квартире или французском поместье, каждый день встречаясь не только с хозяином, но и с его женой, любовницей, детьми, друзьями, слугами.

Он старался держаться так, чтобы между ним и клиентом, между ним и женой клиента, между ним и любовницей клиента, между ним и слугами клиента всегда оставался зазор. Для них он был не другом, но и не чужаком — он был другим.

Однажды его попросили отредактировать мемуары покойного Н. Он был типичным русским миллиардером из числа назначенных Кремлем, но в остальном человеком незаурядным. Держался в тени, тратил огромные деньги на благотворительность, когда это еще не вошло в моду, и вообще считался белой вороной среди нуворисшей. После него остались разрозненные заметки, которые редактор, по замыслу вдовы, должен был превратить в связную, цельную книгу.

Вдова оказалась нестарой женщиной, милой и неглупой. Они вместе разбирали записки ее покойного мужа, вместе обедали, гуляли по парку в огромном поместье, раскинушемся на невысоких холмах над рекой. Муж ее делал записи иногда, что называется, на бегу, и Вера Николаевна помогала восстаналивать контекст той или иной заметки, рассказывала о людях, упомянутых мужем вскользь, вспоминала о покойном, потом они разговаривали о книгах и фильмах, и незаметно границы между ними исчезли.

Он старался не забывать о том, что законы, по которым живут его клиенты, не могут быть его законами, но тут был особый случай.

Через год они поженились, и он оставил свою работу. Ему не хотелось больше играть роль человека, который интересуется чужими жизнями. Волей-неволей ему при-

шлошь вникать в дела фондов, которые покойный муж оставил Вере Николаевне. Много времени и сил уходило на то, чтобы найти общий язык с сыновьями, а особенно с младшей дочерью жены — Варенькой, которая к шестнадцати годам совершенно ослепла. Она была колючей девочкой, но вскоре им удалось подружиться.

Через год Веру Николаевну застрелил снайпер, а еще через полгода не стало и Вареньки — она погибла в грубо подстроенной автомобильной катастрофе.

Это были странные убийства. Вера Николаевна давно передала управление компаниями покойного мужа сыновьям, а Варенька и вовсе не имела никакого отношения к бизнесу. Никто не мог понять, кому выгодны эти смерти, но и сыновья Н., и вдовец какое-то время фигурировали в списке подозреваемых. Больше всего следователей раздражала большая разница в возрасте между Верой Николаевной и Муратовым. Дело в конце концов закрыли, так и не установив ни заказчиков, ни исполнителей.

Он передал сыновьям Веры Николаевны все свои права на часть ее наследства и наследства их сестры. Братья в ответ подарили ему поместье, за которое он выручил огромные деньги. Этих средств ему хватило бы, чтоб прожить три жизни.

Понадобилось еще три года и две смерти, чтобы до него дошел смысл происходящего. Как-то при встрече с В., для которого он когда-то сделал исключение из правила «не связываться с ветеранами спецслужб», он рассказал ему обо всех этих смертях, и тот с удивлением спросил:

«А вы, Павел Николаевич, так до сих пор и не поняли, для кого стреляют?»

Его позабавил этот оборот речи, он переспросил:

«Для кого?»

«Для вас, конечно. Когда-то вы стали владельцем информации, о важности которой не подозреваете, и возможно, кому-то все эти годы это обстоятельство не дает покоя. Цифра, лицо, имя — это может быть что угодно. Тогда этому не придали значения ни вы, ни ваш собеседник, ну а потом что-то изменилось... так бывает не только в кино, поверьте моему богатому опыту... Рыться в архивах или в памяти бесполезно — вы же не знаете, что надо искать. И одному Богу ведомо, о чем думал заказчик, который решил убить не вас, а ваших близких: чужая душа — потемки. Я даже не исключаю, что заказчик давно умер, но заказ, расписанный на годы вперед и профинансированный, неукоснительно выполняется. Это не фантастика, дружище. Однажды мне пришлось стрелять в человека, который лежал в гробу. Через минуту гроб должны были закатить в печь крематория, но я должен был убедиться в том, что клиент мертв, и был вынужден при всех выстрелить ему в лоб. Дурацкая, скажу вам, была ситуация... смех и слезы... А вы — вы тут ни при чем, и выражение «у старых грехов длинные тени» к вам прямо не относится, но что ж поделаешь, вам все равно будут напоминать о чем-то до конца вашей жизни... или пока все исполнители не перемрут, они ведь, слава Богу, тоже люди... Уезжайте, смените страну и имя, может, это и по-может, хотя кто знает, кто знает...»

— Ниночка стала седьмой за десять лет, — сказал он. — Они нашли меня и на Родосе...

Диана молчала.

— Я приехал сюда умирать, — сказал он. — Врачи сказали, что мне осталось года три-четыре, от силы пять...

— Значит, вы не вернетесь в Россию? — спросила Диана.

— Налейте мне выпить, пожалуйста...

Она встала, налила в стаканы виски.

— Одна моя знакомая, — сказала она, стоя к нему спиной, — можно сказать, подруга... она тоже решила не возвращаться домой... она не может вернуться домой, потому что... там все плохо... дома все плохо... она, конечно, сошла с ума... уволилась с работы, уехала за границу...

Села на край кровати, протянула ему стакан, глотнула из своего, сморщилась.

— Все так ужасно, — сказала она, не глядя на него. — Она не может вернуться...

Он ждал.

— Она такая дура... — Диана выпила еще. — Она испортила всем жизнь... — Наконец подняла голову и посмотрела на Муратова. — Она провела ночь с мужчиной...

Муратов кивнул.

— Об этом теперь знают все — ее мать, отец, бабушка, сестры, соседи... все знают, все... город маленький, и теперь там все знают...

— Он женат? — спросил Муратов.

Диана покачала головой.

— Она замужем?

— Да нет, она не замужем... она просто дура...

Он молча смотрел на нее.

— Этот мужчина... — Он отхлебнул виски. — Он ее отец?

— Брат, — шепотом ответила она. — Был бы еще двоюродный, а то родной... она не может вернуться домой, вы ж понимаете... это просто ужас... она даже хотела покончить с собой, утопиться тут или повеситься... тут, на Родосе... потому что повеситься дома — тоже стыдно... а сейчас она просто не знает, что делать... она готова умереть от пули — лишь бы не от стыда...

— Ну что вам сказать, Диана... — Муратов допил виски, повертел в руках стакан. — Скажите ей... скажите вашей подруге, что она может не бояться... она может остаться здесь, на Родосе, со мной... невелика радость, конечно, — жить с человеком, который сидит на обезболивающих и медленно умирает... но для начала сойдет, правда? А потом мы что-нибудь придумаем... так не бывает, чтобы два взрослых человека не придумали, как жить дальше... ведь придумаем?

Она кивнула.

— А сейчас... вы можете переночевать здесь? Я бы лег на террасе, а вы где хотите — места тут много, сами видите... не хочется оставаться одному...

Она снова кивнула.

— Принесите мне еще выпить. На палец.

Она принесла ему виски.

— А ведь когда-то я хотел патриархальной русской старости, — сказал Муратов. — С седой бородой до глаз, как принято в России: без лица, но с душой... Со свечками, иконами, акафистами и чтением апостола на литургии. Хотел писать книги — от руки, карандашом на шершавой бумаге, а не на компьютере. Хотел рассказывать внукам о конце света и антихристе, о житиях Сергия Радонежского и протопopa Аввакума, о царе Иване Грозном и его верном слуге Малюте Скуратове. Хотел состариться в деревне, с козьей ножкой в зубах, в валенках и заячьем треухе. Чтоб был снег над полем, вселенская метель, чтобы страшный черный лес и волки. А перед самой смертью чтоб слышать тихий плач жены-старушки и голос местного попа, читающего канон на разлучение души и тела. Хотел, чтоб смерть была торжеством, а не анекдотом... — Залпом допил виски. — Теперь и вспоминать-то об этом смешно... да и стыдно...

— А почему зима? — спросила Диана.

— Россия...

— Не думала, что вы такой верующий...

— И не хотел бы об этом говорить. Нам предстоит научиться о многом не говорить...

— Ладно, — сказала Диана. — А почему старушка-то? Через пять лет мне будет только тридцать...

Но он уже не слышал ее — спал.

Зиму они провели в России, на Родос вернулись только следующей осенью. Поселились в домике на тихой улочке неподалеку от крепости. Диана сначала думала о смерти с утра до вечера, потом только по вечерам, а

вскоре перестала вовсе. Каждый вечер они выходили на прогулку с детской коляской, а когда сын подрос, Павел Николаевич стал брать его за руку, опираясь другой на трость. Проходя мимо магнолии, Диана говорила: «Павел, нюхай!», а под кроной эвкалипта приказывала: «А теперь дыши!», и они смеялись. На набережной их ждал маленький старичок, застегнутый на все пуговицы, в берете, с изумленным взглядом, устремленным к небу, и широко открытым беззубым ртом, в который подвыпившие туристы иногда бросали монетки, а в ротонде выступала пышная полька Беата, приподнимавшаяся на цыпочки и открывавшая рот так широко, что зрители видели ее трепещущий язык, а потом они ужинали в каком-нибудь ресторанчике, пили коккители, болтали с официантками, приехавшими за счастьем из Новгорода или Омска, и не торопясь возвращались домой, то пропадая в тени платанов, то выходя на свет, и, уложив ребенка спать, еще долго сидели молча наверху у окна, из которого открывался вид на море, кипящее мелким колким золотом...

Содержание

Нора Крамер	5
Покидая Аркадию	93
Слепые и жадные	107
Девушка с юга	128
Пиджак Семеныч	148
Бедные дети	164
Господин Аспирин	184
Черная рука	202
Вечер на заброшенной фабрике	224
Сторублевый поворот	231
Особое чувство	277
Девочка со спичками	285
Длинные тени	295

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА ЮРИЯ БУЙДЫ

Буйда Юрий Васильевич

ПОКИДАЯ АРКАДИЮ

Книга перемен

Ответственный редактор *О. Аминова*
Младший редактор *М. Каменных*
Художественный редактор *А. Марычев*
Технический редактор *Г. Романова*
Компьютерная верстка *Д. Фирстов*
Корректор *Д. Горобец*

ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.
Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»
Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талғаттарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107.
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайты Өндіруші «Э»

Подписано в печать 19.07.2016.
Формат 80x108¹/₃₂. Гарнитура «Гарамонд».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,0.
Тираж 1500 экз. Заказ 2079/16.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**
*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», 344023, г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 44 А. Тел.: (863) 303-62-10.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,
Невский пр-т, д. 46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14.

ISBN 978-5-699-90768-7



9 785699 907687 >



Виктор ПЕЛЕВИН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

История создания этого собрания сочинений Виктора Пелевина такова: примерно год тому назад мы в редакции задумались о том, что до сих пор никто не издавал полного собрания сочинений одного из самых читаемых авторов современности. Решив восполнить этот пробел, сначала придумали издавать академическое — с комментариями, предисловиями и послесловиями, — но автор эту идею отверг. Тогда появилась другая идея — провести в Интернете конкурс для художников на лучшие иллюстрации его книг. В результате состязания, в котором участвовали как очень молодые (рожденные в середине девяностых), так и маститые взрослые мастера, у нас получилось около ста победителей, работы которых эксклюзивно украсили страницы томов этого собрания...



**ВПЕРВЫЕ — ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА!
16 ТОМОВ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРЕННОЙ ВРЕМЕНЕМ ПРОЗЫ!**

Высокий стиль. Проза

ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ

Со страниц её книг ритмично дышит сама жизнь
во всех её проявлениях...



Ирина Муравьёва доказала: высокий стиль актуален.
Он покоряет сердца и обостряет чувство подлинной жизни!



Так случилось, что Юрия Буйду, как и Людмилу Улицкую в свое время, открыло старейшее и самое престижное издательство Франции «Галлимар». Вскоре и в России имя Юрия Буйды стало знаменитым. Его полюбили читатели и высоко оценило профессиональное сообщество (неоднократный финалист «Русского Букера», лауреат «Большой книги»). Юрий Буйда видит мир через волшебное стекло древнего мифа, в котором даже самый

обыкновенный человек становится великаном и горы сходят с мест от взмаха женской ресницы. Мир прозы Юрия Буйды – чарующий и пугающий одновременно. Его книги источают яд и мед страсти, в них бьется огромное сердце самой Жизни.

Аркадия — идеальная страна счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким раем казалась дооктябрьская Россия, «которую мы потеряли», а сегодня многие считают, что идеальной страной был СССР, хотя советские люди были убеждены, что счастье возможно только в будущем, где нет ни «совка», ни «коммуняк», а только безграничная свобода и полные прилавки. Все требовали перемен, не задумываясь об их цене.

Эта книга — о тех, кто погиб в пожаре перемен, и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все испытания, изменившись, но не изменив себе. О провинциальной девчонке, которая благодаря стойкости стала великой актрисой, потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от блестящей карьеры ради любви. О нормальных подростках, превратившихся в безжалостных убийц. О прокуроре, взявшемся за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга — о поисках идеала, о единстве прошлого, настоящего и будущего, о нас сегодняшних, о счастливой Аркадии, которую мы всегда покидаем, никогда с нею не расставаясь.

ISBN 978-5-699-90768-7



9 785699 907687 >

